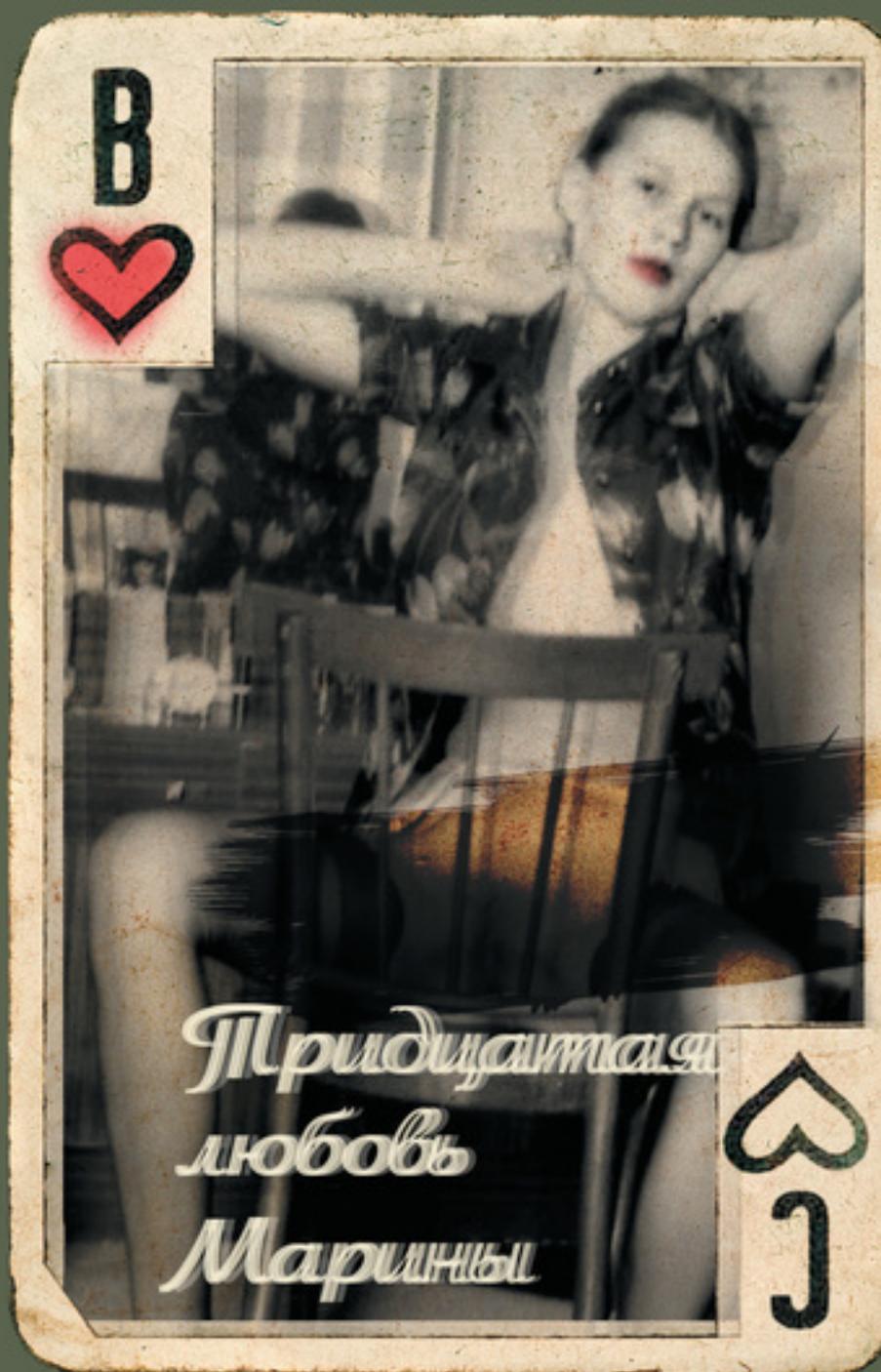


ВЛАДИМИР СОРОКИН



18+

Владимир Сорокин
Тридцатая любовь Марины

«Corpus (ACT)»

1984

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Сорокин В. Г.

Тридцатая любовь Марины / В. Г. Сорокин — «Corpus (ACT)», 1984

ISBN 978-5-17-050266-0

Красавица Марина преподает музыку, спит с девушками, дружит с диссидентами, читает запрещенные книги и ненавидит Советский Союз. С каждой новой возлюбленной она все острее чувствует свое одиночество и отсутствие смысла в жизни. Только любовь к секретарю парткома, внешне двойнику великого антисоветского писателя, наконец приводит ее к гармонии – Марина растворяется в потоке советских штампов, теряя свою идентичность. Роман Владимира Сорокина “Тридцатая любовь Марины”, написанный в 1982–1984 гг., – точная и смешная зарисовка из жизни андроповской Москвы, ее типов, нравов и привычек, но не только. В самой Марине виртуозно обобщен позднесоветский человек, в сюжете доведен до гротеска выбор, стоявший перед ним ежедневно. В свойственной ему иронической манере, переводя этическое в плоскость эстетического, Сорокин помогает понять, как устроен механизм отказа от собственного я. Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-050266-0

© Сорокин В. Г., 1984

© Corpus (АСТ), 1984

Владимир Сорокин

Тридцатая любовь Марины

© Владимир Сорокин, 1995, 2017
© А. Бондаренко, оформление, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Издательство CORPUS ®

* * *

Ирине

*...ибо Любовь, мой друг, как и Дух Святой, живет и дышит там,
где хочет.*

Мишель Монтень, из частной беседы

Царапая старую побелку длинным перламутровым ногтем, Маринин палец в третий раз утопил черную кнопку звонка.

За высокой, роскошно обитой дверью послышались наконец торопливые шаркающие шаги.

Марина вздохнула, сдвинув рукав плаща, посмотрела на часы. Золотые стрелки сходились на двенадцати.

В двери продолжительно и глухо прохрустели замки, она приоткрылась ровно на столько, чтобы пропустить Марину:

– Прости, котенок. Прошу.

Марина вошла, дверь с легким грохотом захлопнулась, открыв массивную фигуру Валентина. Виновато-снисходительно улыбаясь, он повернул серебристую головку замка и своими огромными белыми руками притянул к себе Марину:

– Mille pardons, ma chérie...

Судя по тому, как долго он не открывал, и по чуть слышному запаху кала, хранившегося в складках его темно-вишневого бархатного халата, Маринин звонок застал его в уборной.

Они поцеловались.

– С облегчением вас, – усмехнулась Марина, отстраняясь от его широкого породистого лица и осторожно проводя ногтем по шрамику на тщательно выбритом подбородке.

– Ты просто незаконнорожденная дочь Пинкертона, – шире улыбнулся он, бережно и властно забирая ее лицо в мягкие теплые ладони. – Как добралась? Как погода? Как дышится?

Улыбаясь и разглядывая его, Марина молчала.

Добралась она быстро – на по-полуденному неторопливом, пропахшем бензином и шофером такси, погода была мартовская, а дышалось в этой большой пыльной квартире всегда тяжело.

– Ты смотришь на меня глазами начинающего портретиста, – проговорил Валентин, нежно сдавливая громадными ладонями ее щеки. – Котик, тебе поздно менять профессию. Твой долг – выявлять таланты и повышать общий музыкальный уровень трудящихся прославленной фабрики, а не изучать черты распада физиономии стареющего дворянского отпрыска.

Он приблизился, заслоня лицом ложноампирный интерьер прихожей, и снова поцеловал ее.

У него были чувственные мягкие губы, превращающиеся в сочетании с необычайно умелыми руками и феноменальным пенисом в убийственную триаду, базирующуюся на белом нестарющем теле, массивном и спокойном, как глыба каррарского мрамора.

– Интересно, ты бываешь когда-нибудь грустным? – спросила Марина, кладя сумку на телефонный столик и расстегивая плащ.

– Только когда Менухин предлагает мне совместное турне.

– Что, так не любишь?

– Наоборот. Жалею, что врожденный эгоцентризм не позволяет мне работать в ансамбле.

Едва Марина справилась с пуговицами и поясом, как властные руки легко сняли с нее плащ.

– А ты же выступал с Растропом.

– Не выступал, а репетировал. Работал.

– А мне говорили – выступал...

Он сочно рассмеялся, вешая плащ на массивную алтароподобную вешалку:

– Бред филармонийской шушеры. Если б я согласился тогда выступить, сейчас бы у меня было несколько другое выражение лица.

– Какое же? – усмехнулась Марина, глядя в позеленевшее от старости зеркало.

– Было бы меньше продольных морщин и больше поперечных. Победив свой эгоцентризм, я в меньшей степени походил бы на изможденного страхом сенатора времен Калигулы. В моем лице преобладали бы черты сократовского спокойствия и платоновской мудрости.

Сбросив сапожки, Марина поправляла перед зеркалом рассыпавшиеся по плечам волосы:

– Господи, сколько лишних слов...

Валентин обнял ее сзади, осторожно накрыв красиво прорисовывающиеся под свитером груди совковыми лопатами своих ладоней:

– Ну, понятно, понятно. *Silentium*. Не ты ли, апсара, нашептала этот перл дряхлеющему Тютчеву?

– Что такое? – улыбаясь, поморщилась Марина.

– Мысль изреченная есмь ложь.

– Может быть, – вздохнула она, наложив свои, кажущиеся крохотными, ладони на его. – Слушай, какой у тебя рост?

– А что? – перевел он свой взгляд в зеркало.

Он был выше ее на две головы.

– Просто.

– Рубль девяносто три, прелесть моя, – Валентин поцеловал ее в шею, и она увидела его лысеющую голову.

Повернувшись к нему, Марина протянула руки.

Они поцеловались.

Валентин привлек ее к себе, обнял и приподнял, как пушинку:

– Покормить тебя, котенок?

– После... – пробормотала она, чувствуя опьяняющую мощь его рук.

Он подхватил ее и понес через длинный коридор в спальню.

Обняв его за шею, Марина смотрела вверх.

Над головой проплыл, чуть не задев, чудовищный гибрид потемневшей бронзы и хрусталя, потянулось белое потолочное пространство, потом затрещали бамбуковые занавески, скрывающие полумрак.

Валентин бережно опустил Марину на разобранную двуспальную кровать.

– Котеночек...

Глухие зеленые шторы были приспущены, бледный мартовский свет проникал в спальню сквозь узкую щель.

Лежа на спине и расстегивая молнию на брюках, Марина разглядывала другого медно-хрустального монстра, грозно нависавшего над кроватью. Он был меньше, но внушительней первого.

Валентин присел рядом, помогая ей снять брюки:

– Адриатическая ящерка. Не ты ль окаменела тогда под шизоидным взглядом Горгоны? Марина молча улыбнулась. В спальне она не умела шутить.

Громадные руки в мгновение содрали с нее свитер и колготки с трусиками.

Валентин привстал, халат на нем разошелся, закрыв полкомнаты, и бесшумно упал вниз на толстый персидский ковер.

Кровать мучительно скрипнула, белые руки оплели смуглое тело Марины.

У Валентина была широкая безволосая грудь с большими, почти женскими сосками, с двухкопеечной родинкой возле еле различимой левой ключицы.

– Котеночек...

Губы его, хищно раздвинув волосы, медленно вобрали в себя Маринину мочку, мощная рука ваятеля прошла по грудям, животу и накрыла пах.

Ее колени дрогнули и разошлись, пропуская эту большую длань, источающую могущество и негу.

Через минуту Валентин уже лежал навзничь, а Марина, стоя на четвереньках, медленно садилась на его член, твердый, длинный и толстый, как сувенирная эстонская свеча за три девяносто.

– Венера Покачивающаяся... прелесть... это ты святого Антония искушала...

Он шутил, сияясь улыбнуться, но его породистое лицо с этого момента начинало катастрофически терять свою породистость.

Марина жадно вглядывалась в него.

Притененное сумраком спальни, оно расплывалось, круглело, расползаясь на свежей арабской простыне.

Когда Марина опустилась и лобковые кости их встретились, на лицо Валентина сошло выражение полной беспомощности, чувственные губы стали просто пухлыми, глаза округлились, выбритые до синевы щеки заалели, и на Марину доверчиво взглянул толстый мальчик, тот самый, что висит в деревянной треснутой рамке в гостиной над громадным концертным роялем.

Подождав мгновение, Марина начала двигаться, оперевшись руками в свои смуглые бедра.

Валентин молча лежал, блуждая по ней невменяемым взором, руки его, вытянутые вдоль тела, бессильно шевелились.

Прямо над кроватью, на зеленовато-золотистом фоне старинных обоев, хранивших в своих буколических узорах смутный эротический подтекст, висел в глубокой серой раме этюд натурщицы кисти позднего Фалька.

Безликая женщина, искусно вылепленная серо-голубым фоном, сидела на чем-то бледно-коричневом и мягком, поправляя беспальными руками густые волосы.

Ритмично двигаясь, Марина переводила взгляд с плавной фигуры на распластавшееся тело Валентина, в сотый раз убеждаясь в удивительном сходстве линий.

Оба они оказались беспомощны, женщина – перед кистью мастера, мужчина – перед смуглым подвижным телом, которое так легко и изящно покачивается над ним в полумраке спальни.

Марина порывисто обняла его, припав губами к коричневому соску и стала двигаться резче.

Валентин застонал, обнял ее голову.

– Прелесть моя... сладость... девочка...

Его лицо совсем округлилось, глаза полуприкрылись, он тяжело дышал.

Марине нравилось целовать и покусывать его соски, чувствуя, как содрогается под ней беспомощная розовая глыба.

Мягкие округлые груди Марины касались его живота, она ощущала, насколько они прохладнее Валентинова тела.

Его руки вдруг ожили, сомкнулись за ее спиной.

Он застонал, делая неловкую попытку помочь ей в движении, но никакая сила, казалось, не в состоянии была оторвать эту махину от кровати.

Поняв его желание, Марина стала двигаться быстрее.

Часы в гостиной звучно пробили половину первого.

В тяжелом дыхании Валентина отчетливей проступила дрожь, он стонал, бормоча что-то, прижимая к себе Марину.

В его геркулесовых объятьях ей было труднее двигаться, груди плюшились, губы покрывали гладкую кожу порывистыми поцелуями, каштановые, завивающиеся в кольца волосы подрагивали на смуглых плечах.

Он сжал ее сильнее.

Ей стало тяжело дышать.

– Милый... не раздави меня... – прошептала она в круглый, поросший еле заметными волосками сосок.

Он разжал руки, но на простыне им больше не лежалось, – они стали конвульсивно трогать два сопряженных тела, гладить волосы Марины, касаться ее колен.

Дыхание его стало беспорядочным, хриплым, он подрагивал всем телом от каждого движения Марины.

Вскоре дрожь полностью овладела им. Марина пристально следила за его лицом.

Вдруг оно стало белым, слившись с простыней. Марина стремительно приподнялась, разъединяясь, отчего ее влагалище сочно чмокнуло. Соскочив с Валентина и наклонившись, она сжала рукой его огромный член, ловя губами бордовую головку.

– Ааааа... – замерший на мгновение Валентин застонал, столбоподобные ноги его мучительно согнулись в коленях.

Марина едва успела сжать одно из страусиных яиц громадной полиловевшей и подбравшейся мошонки, как в рот ей толкнулась теплая густая сперма.

Ритмично сжимая член, Марина впиалась губами в головку, жадно глотая прибывающую вкусную жидкость.

Мертвенно бледный Валентин вяло бился на простыне, беззвучно открывая рот, словно выброшенное на берег морское животное.

– Ааааа... смерть моя... Мариночка... одалисочка... сильнее... сильнее...

Она сдавила напружинившийся горячий жезл, чувствуя, как пульсирует он, выпуская сакральные порции.

– Ооооо... смертеподобно... гибель... прелесть ты... котенок...

Через мгновение он приподнялся на локтях, а Марина, слизнув с бордового лимона последние мутные капли, блаженно вытянулась на прохладной простыне.

– Сногшибательно... прелесть... – пробормотал Валентин, разглядывая свой лежащий на животе и достающий до пупка пенис.

– Доволен... – утвердительно спросила Марина, целуя его в абсолютно седой висок.

– Ты профессиональная гетера, я это уже говорил, – устало выдохнул он и, откинувшись, накрыл ее потяжелевшей рукой. – *Beati possidentes...*

Лицо его порозовело, губы снова стали надменно-чувственными.

Марина лежала, прижавшись к его мерно вздымающейся груди, глядя, как вянет на мраморном животе темно-красный цветок.

– Меч Роланда, – усмехнулся Валентин, заметив, куда она смотрит. – А ты – мои верные ножны.

Марина рассеянно гладила его руку:

– Не я одна. У него, наверно, были сотни ножен.

– *Il est possible. On ne peut pas passer de cela...*

– Все-таки какой он огромный...

– *Je remercie Dieu...*

– Ты не измерял его напряженным?

– *Il y a longtemps. Au temps de ma jeunesse folle...*

– Слушай, говори по-русски!

– Двадцать восемь сантиметров.

– Потрясающе...

Марина коснулась мизинцем влажного блестящего кончика, сняв с него липкую прозрачную каплю.

Где-то в глубине Валентина ожил на короткое время приглушенный гобой. Валентин громко выпустил газы.

– *Pardon...*

– Хам... – тихо засмеялась Марина, отводя упавшую на лицо прядь.

– *L'homme est faible...*

– Непонятно, для кого ты это говоришь?

– Для истории.

Марина со вздохом приподнялась, потянулась.

– Дай пожрать чего-нибудь...

– Погоди минутку. Ляг.

Он мягко шлепнул ее по спине.

Марина легла.

Валентин погладил ее волосы, поцеловал в смуглое плечо с рябеньким пятнышком прививки:

– Устала, ангел мой?

– От твоего дурацкого французского.

– Дурацкого – в смысле плохого?

– Дело в том, что я не знаю никакого – ни хорошего, ни плохого. Тебе это прекрасно известно. Что за снобизм такой...

Он глухо засмеялся, нависая над ней на локте:

– Так я же и есть старый, вовремя недобитый сноб!

Марина снова потрогала шрамик на его подбородке:

– Неисправимый человек.

– Безусловно.

Он гладил ее волосы.

Несколько минут они пролежали молча.

Потом Валентин сел, протянул руку, нашарил сигареты на низкорослой индийской тумбочке:

– Котенок, а у тебя действительно никогда с мужчиной оргазма не было?

– Никогда.

Он кивнул, ввинчивая сигарету в белый костяной мундштук.
– А про меня и забыл, – тихо проговорила Марина, что-то наигрывая пальцами на его плече.

– Pardon, милая. Холостяцкие привычки... прошу...

Топорщась, сигареты полезли из пачки.

Марина вытянула одну.

Щелкнула газовая зажигалка, выбросив не в меру длинный голубой язык.

Прикурили.

Марина встала, жадно затягиваясь, прошла по ковру и снова посмотрела на картину.

Размытая женщина все еще поправляла волосы.

Сидя, Валентин поднял халат, накиннул и с трудом оторвался от кровати.

– Уютный уголок, – Марина зябко передернула плечами.

– Милый, правда? – пробормотал Валентин, сжимая зубами мундштук и завязывая шелковый пояс с кистями.

– Да...

Она наклонилась и стала собирать свое разбросанное белье.

Валентин мягко коснулся ее плеча и, обильно выпуская дым, выплыл из спальни:

– Пошли обедать.

Стряхнув сероватый цилиндрок пепла в тронутую перламутром раковину, Марина натянула свитер, косясь на себя в продолговатое трюмо, стала натягивать трусики.

Слышно было, как в просторной кухне Валентин запел арию Далилы.

Марина достала из широкого воротника свитера свои волосы и босая побежала на кухню.

В прихожей она подфутболила свой слегка забрызганный грязью сапожок:

– Хей-хо!

Валентин, копающийся в недрах двухэтажного “Розенлефа”, оглянулся:

– Очаровашка... знаешь... – Он вынул на минуту мундштук и быстро заговорил, другой рукой прижимая к бархатной груди кучу вынутых продуктов: – Ты сейчас похожа на римлянку времен гибели империи. У нее семью вырезали, дом разрушен. Неделю жила с волосатым варваром. Он ей и подарил свою козью душегрейку. Так она и побежала в ней по раздробленным плитам Вечного города. Как, а?

– Вполне. Тебе пора в Тациты подаваться.

– Да ну. Не хочу в Тациты. Я б в Светонии пошел, пусть меня научат...

Мелкими шажками он добрался до широкого стола и резко наклонился. Продукты глухо посыпались на стол. Костяной мундштук вновь загремел о зубы:

– Светонии точнее их всех. Нигде не ждет жизнь двога дучше сеггетага. Или повага. Садись.

Марина опустила на скрипучий венский стул, распаковала желтую пирамидку сыра и принялась резать его тяжелым серебряным ножом.

Докурив, Валентин бросил сигарету в раковину, мундштук со свистом продул и опустил в карман халата:

– Его б гофрировать надо, по-хорошему...

– Перебьешься. Порезюкай колбаску лучше.

– Ну, chétié, что за жаргон...

– Какие ножи хорошие.

– Еще бы. Моего расстрелянного дедушки.

– А что, его расстреляли?

– Да. В двадцать шестом.

– Бедняга.

Марина разложила листочки сыра на тарелке.

Валентин с треском снял кожу с колбасы и стал умело пластать ее тонкими кусочками.

– Тебе повар “Метрополя” позавидует, – усмехнулась Марина, открывая розеточку с икрой. – Все-таки холостяцкая жизнь многому учит.

– Бэзусловно, – продолговатые овалы ложились на дощечку.

– Послушай, а что ж твоя домработница тебе не готовит?

– Почему не готовит? Готовит.

– А сейчас?

– Не каждый день же ей тут торчать...

– Она когда приходит?

– Вечером.

– Ну, ты ее, конечно, уже, да?

– Было дело, котенок, было...

– Ну?

– Неинтересно. Закомплексованный советский индивидуум.

– Фригидна, что ль?

– Да нет, не в этом дело. Она-то визжала от восторга. Билась, как белуга, подо мной.

Я о другом говорю.

– Дикая?

– Абсолютно. Про минет впервые от меня услышала. Сорок восемь лет бабе.

– Ну а ты бы просветил.

– Зайка, я не умею быть наставником. Ни в чем.

– Я знаю...

Марина помогла ему уложить колбасу на тарелку.

Валентин зажег конфорку, с грохотом поставил на нее высокую кастрюлю:

– Борщ, правда, варит гениально. За это и держу.

– А ей действительно с тобой хорошо было?

– Со мной? Котик, только ты у нас патологическая мужефобка. Кстати, поэтому ты мне и нравишься.

– Да кто тебе, скажи на милость, не нравится?! С первой встречной готов.

– Правильно. Я, милая, как батенька Карамазов. Женщина достойна страсти уже за то, что она – женщина.

– На скольких тебя еще хватит...

– Будем стараться.

– Тоже мне...

– Слушай, chérie, в тебе сегодня чувствуются какие-то бациллы агрессивности. Это что – влияние твоей экзальтированной любовницы?

– Кого ты имеешь в виду?

– Ну, эту... которая и не играет, и не поет, и не водит смычком черноголосым.

– Мы с ней разошлись давно, – пробормотала Марина, жуя кусочек колбасы.

– Вот как. А кто же у тебя сейчас?

– А тебе-то что...

– Ну, котенок, успокойся.

– А я спокойна...

Валентин снова открыл холодильник, достал начатую бутылку шампанского, снял с полки бокалы:

– За неимением Аи.

– Сто лет шампанского не пила.

– Вот. Выпей и утихомирься.

Слабо пенясь, вино полилось в бокалы.

Марина взяла свой, посмотрела на струящиеся со дна пузырьки:

– У меня, Валечка, сейчас любовь. Огромная.

– Это замечательно, – серьезно проговорил Валентин, пригубивая вино.

– Да. Это прекрасно.

Марина выпила.

– А кто она?

– Девушка.

– Моложе тебя?

– На пять лет.

– Чудесно, – с изящным беззвучием он поставил пустой бокал, снял крышку с хрустальной розеточки, полной черной икры, и широким ножом подцепил треть содержимого.

– Да. Это удивительно, – прошептала Марина, вода ногтем по скатерти.

Валентин толстым слоем располагал икру на ломтике хлеба:

– Хороша собой?

– Прелесть.

– Характер?

– Импульсивный.

– Сангвиник?

– Да.

– Склонна к медитации?

– Да.

– Чувственна?

– Очень.

– Ранима?

– Как ребенок.

– Любит горячо?

– Как огонь.

– К нашему брату как относится?

– Ненавидит.

– Постой, но это же твоя копия!

– Так и есть. Я в ней впервые увидела себя со стороны.

Валентин кивнул, откусил половину бутерброда и наполнил бокалы.

Марина рассеянно слизывала икру с хлеба, вперясь взглядом в золотистые пузырьки.

– Завидую тебе, детка, – пробормотал он, жуя и приподнимая бокал. – Твое здоровье.

Шампанское уже отдалось в Марине теплом и ленью.

Она отпила, поднесла бокал к глазам и посмотрела сквозь переливающееся золотистыми оттенками вино на невозмутимо пьющего Валентина.

– Всю жизнь мечтал полюбить кого-то, – бормотал он, запивая уничтоженный бутерброд. – Безумно полюбить. Чтоб мучиться, рыдать от страсти, сесть от ревности.

– И что же?

– Как видишь. Одного не могу понять: или мы в наших советских условиях это чувство реализовать не можем, или просто человек нужный мне не встретился.

– А может, ты просто расплылся по многим и все?

– Не уверен. Вот здесь, – он мягко дотронулся до груди кончиками пальцев, – что-то есть нетронутое. Этого никто никогда не коснулся. Табуированная зона для пошлости и распутства. И заряд мощнейший. Но не дискретный. Сразу расходует, как шаровая молния.

– Дай Бог тебе встретить эту женщину.

– Дай Случай.

- Дай Бог.
- Для тебя – Бог, для меня – Случай.
- Твое дело. Борщ кипит вовсю...
- Аааа... да, да...

Он заворочался, сиюсья приподняться, но потом передумал:

- Котенок, разлей ты. У тебя лучше получается.

Марина прошлепала к плите, достала из сушки две глубокие тарелки и стала разливать в них дымящийся борщ.

– И понимаешь, в чем, собственно, весь криминал, – я не могу полюбить, как ни стараюсь. А искренне хочу.

- Значит, не хочешь.

– Хочу, непременно хочу! Ты скажешь, любовь – это жертва прежде всего, а этот старый сноб на жертву неспособен. Способен! Я все готов отдать, все растратить и сжечь, лишь бы полюбить кого-то по-настоящему! Вот почему так завидую тебе. Искренне завидую!

Марина поставила перед ним полную тарелку.

Валентин снял крышку с белой банки, зачерпнул ложкой сметану:

- Но ты-то у нас в воскресенье родилась.
- Да. В воскресенье, – Марина осторожно несла свою тарелку.
- Вот-вот...

Его ложка принялась равномерно перемешивать сметану с борщом.

Марина села, перекрестилась, отломилла хлеба и с жадностью набросилась на борщ.

– Сметаны положи, котенок, – тихо проговорил Валентин и надолго склонился над тарелкой.

Борщ съели молча.

Валентин лениво отодвинул пустую тарелку.

Его квадратное лицо сильно порозовело, словно под холеную кожу вошла часть борща:

- А больше и нет ничего... мда...
- По-моему, достаточно, – ответила Марина, вешая на край тарелки стебелек укропа.
- Ну и чудно, – кивнул он, доставая из халата мундштук.
- За этот борщ твоей бабе можно простить незнание минета...
- Бэзусловно...

Вскоре они переместились в просторную гостиную.

Марина забралась с ногами в огромное кожаное кресло, Валентин тяжело опустился на диван.

– Теперь ты вылитая одалиска, – пробормотал он, выпуская сквозь губы короткую струйку дыма. – Матисс рисовал такую. Правда, она была в полосатых шальварах. А верх обнажен. А у тебя наоборот.

Марина кивнула, затягиваясь сигаретой.

Он пристально посмотрел на нее, проводя языком по деснам, отчего уста вспучивались мелькающим холмиком:

- Странно все-таки...
- Что – странно?
- Лесбийская страсть. Поразительно... что-то в этом от безумия бедного Нарцисса.

Ведь в принципе ты не чужое тело любишь, а свое в чужом...

- Неправда.

– Почему?

– Ты все равно не поймешь. Женщина никогда не устанет от женщины, как мужчина.

Мы утром просыпаемся еще более чувственными, чем вечером. А ваш брат смотрит, как на ненужную подстилку, хотя вечером стонал от страсти...

Валентин помолчал, нервно покусывая мундштук, потом, лениво потянувшись, громко хрустнул пальцами:

– Что ж. Возможно...

Пепел упал в одну из складок его халата.

Марина посмотрела на толстого мальчика в треснутой рамке. Застенчиво улыбаясь, он ответил ей невинным взглядом. Огромный бант под пухлым подбородком расползся красивой кляксой.

В ямочках на щеках сгустился серый довоенный воздух.

– Валя, сыграй чего-нибудь, – тихо проговорила Марина.

– Что? – вопросительно и устало взглянул он.

– Ну... над чем ты работаешь?

– Над Кейджем. “Препарированный рояль”.

– Не валяй дурака.

– Лучше ты сыграй.

– Я профнепригодна.

– Ну, сыграй без октав. Чтоб твой раздробленный пятый не мучился.

– Да что мне-то... смысла нет...

– Сыграй, сыграй. Мне послушать хочется.

– Ну, если только по нотам...

– Найди там.

Марина слезла с кресла, подошла к громадному, во всю стену шкафу. Низ его был забит нотами.

– А где Шопен у тебя?

– Там где-то слева... А что нужно?

– Ноктюрны.

– Вот, вот. Поиграй ноктюрны. По ним сразу видно все.

Марина с трудом вытянула потрепанную желтую тетрадь, подошла к роялю. Валентин стремительно встал, открыл крышку и укрепил ее подпоркой. Опустившись на потертый плюш стула, Марина подняла пюпитр, раскрыла ноты, полистала:

– Так...

Прикоснувшись босой ступней к холодной педали, она вздохнула, освобождая плечи от скованности, и опустила руку на клавиатуру. Черный, пахнущий полиролью “Блютнер” откликнулся мягко и внимательно. Повинуясь привычной податливости пожелтевших клавиш, Марина сыграла два такта вступления немного порывисто и громко, заставив Валентина пространно вздохнуть.

Возникла яркая тоскливая мелодия правой, и басы послушно отодвинулись, зазвучали бархатней.

Она вчера играла этот ноктюрн на чудовищном пианино заводского ДК, жалком низкорослом обручке с латунной бляшкой “Лира”, невероятно тугой педалью и отчаянно дребезжащими клавишами. Этот сумасшедший бутылочный Шопен еще звучал у нее в голове, переплетаясь с новым – чистым, строгим и живым.

Валентин слушал, покусывая мундштук, глаза его внимательно смотрели сквозь рояль.

Повторяющееся арпеджио басов стало подниматься и вскоре слилось с болезненно порхающей темой, начались октавы, и негнувшийся пятый палец уступил место четвертому.

Валентин молча кивал головой.

Crescendo перешло в порывистое forte, Маринины ногти чуть слышно царапали клавиши.

Валентин встал и изящно перелистнул страницу, потрепанную, словно крылышко у измученной ребенком лимонницы.

Ноктюрн начал угасать, Марина чуть тронула левую педаль, сбилась, застонала, морщась, и нервно закончила.

Мягко положив ей руку на плечо, Валентин вынул мундштук изо рта:

– Вполне, вполне, милая.

Она засмеялась, тряхнув волосами, и грустно вздохнула, опустив голову.

– Нет, серьезно, – он повернулся, бросил незатушенный окурок в пепельницу, – шопеновский нерв ты чувствуешь остро. Чувствуешь.

– Спасибо.

– Только не надо проваливаться из чувств в чувствительность, всегда точно знай край.

Теперь большинство его не ведает. Либо академизм, сухое печатанье на машинке, либо сопли и размазня. Шопен, милая Марина, прежде всего – салонный человек. Играть его надо изысканно. Горовиц говорил, что, играя Шопена, он всегда чувствует свои руки в манжетах того времени. А знаешь, какие тогда были манжеты?

– Брабантские?

– К чёрту брабантские. Оставим их для безумных гумилевских капитанов. В первой половине девятнадцатого носили простые, красивые и изысканные манжеты. Так и играй – просто, красиво, изысканно. И ясно. Непременно – ясно. И, голубушка, срежь ты коготки свои, страшно такими щапками к роялю прикасаться. А главное – постановка руки меняется, тебе ясный звук труднее извлекать.

– Саша говорит, что мне идут... Пролам и с такими ногтями играть можно...

– Пролам можно, а мне нельзя.

Он осторожно сжал ее плечо:

– Пусти, я сыграю тебе.

– Этот же? Сыграй другой.

– Все равно...

– Я найду тебе щас... – потянулась она к нотам, но Валентин мотнул головой:

– Не надо. Я их помню.

– Все девятнадцать?

– Все девятнадцать. Сядь, не стой над душой.

Марина села на диван, закинув ногу на ногу.

Поправив подвернувшийся халат, Валентин опустился на стул, потирая руки, глянул в окно.

Из хрустального зева пепельницы тянулся вверх голубоватый серпантин.

Белые руки зависли над клавишами и плавно опустились.

Марина вздрогнула.

Это был ЕЕ ноктюрн, тринадцатый, до-минорный, огненным стержнем пронизавший всю ее жизнь.

Мать играла его на разбитом “Ренеше”, и пятилетняя Марина плакала от незнакомого щемящего чувства, так просто и страшно врывающегося в нее. Позднее, сидя на круглом стульчике, она разбирала эту жгучую пружину детскими топорщающимися пальчиками. Тогда эти звуки, неровно и мучительно вспыхивающие под пальцами, повернули ее к музыке – всю целиком.

Ноктюрн был и остался зеркалом и камертоном души. В школе она играла его на выпускном, выжав слезы из оплывших неврастенических глаз Ивана Серафимыча и заставив на мгновение замереть переполненный родителями и учениками зал.

Пройденное за три года училище изменило ноктюрн до неузнаваемости. Марина смеялась, слушая свою школьную потрескивающую запись на магнитофоне Ивана Серафимыча, потом смело садилась за его кабинетный рояльчик и играла. Старичок снова плакал, захле-

бываясь лающим кашлем, сибирский полупудовый кот, лежащий на его вельветовых коленях, испуганно шурился на хозяина...

Это был ее ноктюрн, ее жизнь, ее любовь.

Мурашки пробежали у нее по обтянутой свитером спине, когда две огромные руки начали лепить перекликающимися аккордами то самое – родное и мучительно сладкое.

Он играл божественно.

Аккорды ложились непреложно и страстно, рояль повиновался ему полностью, – из распахнутого черного зева плыла мелодия муки и любви, ненадолго сменяющаяся неторопливым кружевом арпеджио.

Большие карие глаза Марины сузились, подернулись терпкой влагой, белые руки расплылись пятнами.

Пробивающаяся сквозь аккорды мелодия замерла, и, о Боже, вот оно сладкое родное ре, снимающее старую боль и тянущее в ледяной омут новой. Валентин сыграл его так, что очередная зыбкая волна мурашек заставила Марину конвульсивно дернуться. Слезы показались по щекам, закапали на голые колени.

Марина сжала рукой подбородок: рояль, Валентин, книжный шкаф – все плыло в слезах, колеблясь и смешиваясь.

И ноктюрн мерно плыл дальше, минор сменился спокойной ясностью мажорных аккордов, холодным прибором смывающих прошлые муки.

Марина встала и неслышно подошла к роялю.

Побежали октавы, сыгранные с подчеркнутым изяществом, снова вернулись осколки шемящего прошлого, засверкали мучительным калейдоскопом и собрались, но – в другое.

– Очищение... – прошептала Марина и замерла. Тринадцатый катился к концу, слезы просыхали на щеках.

– Очищение...

Боль таяла, уходила, отрываясь от души, прощаясь с ней.

Белым рукам оставалось мало жить на клавишах: хлынули волны арпеджио, и вот он – финальный аккорд, прокрустово ложе для короткопалых.

Марина смотрела, как поднялись чудовищные длани и легко опустились.

Подождав, пока растает звук, Валентин снял руки с клавиш.

Марина молча стояла рядом, рассеянно потирая висок.

– Что с тобой, котенок? – спросил он, с удивлением рассматривая ее заплаканное лицо.

– Так... – еле слышно проговорила.

– Ну... совсем не годится...

Валентин тяжело встал, обнял ее и бережно вытер щеки кончиками пальцев.

Марина взяла его руку, посмотрела и поцеловала в глубокую линию жизни.

– Что с тобой? – он поднял ее, пытаясь заглянуть в глаза.

Марина отвела их и, теребя пальцами бархатный воротник халата, вздохнула на весу.

– Вспомнила что-нибудь?

Она неопределенно кивнула.

– Бывает. Понравился ноктюрн?

Она опять кивнула.

Валентин опустил ее.

– Сыграть еще?

– Не надо, а то обревуся вся.

– Как хочешь, – сухо пробормотал он.

Марина погладила его плечо:

– Ты великий пианист.

Он вяло рассмеялся:

- Я это знаю, котик.
- А когда ты узнал?
- Еще в консерватории.
- Тебе сказали или ты сам понял?
- Сказали. А потом понял.
- Кто сказал?
- Гарри.
- А он многим говорил?
- Не очень многим. Но говорил.

Марина села на диван, вытащила сигарету из пачки, щелкнула знакомой зажигалкой, заблаговременно отстранившись.

- Ты поняла, как надо играть Шопена?

Она усмехнулась, сузив слегка припухшие от слез глаза:

– Я знаю, как его надо играть. Просто не умею. А ты знаешь и умеешь. Честь вам и хвала, Валентин Николаич.

- Что с тобой сегодня? Не понимаю.
- И слава Богу.

Он вздохнул и побрел на кухню:

- Чай поставлю...
- Ставь. Только я не дожусь.
- Что так? – спросил он уже из кухни.
- Пора мне...
- Что?
- Пора, говорю!
- Как хочешь, кис...

Марина прошла в спальню, подняла брюки и, натягивая их, послала фальковской натурщице чуть слышный воздушный поцелуй:

- Живи, милая...
- Из кухни французским басом запела Далила.

Часы пробили.

- Это что, час? – спросила Марина у своего тройного отражения. – А может, больше?
- Полвторого.
- Мне в два к пролам надо... Господи...
- Возьми мотор, – посоветовал Валентин, выходя из кухни. – Как у тебя с финансами?
- Херовенько...

Он кивнул и скрылся в кабинете.

Марина принялась натягивать сапожки.

Валентин вышел, обмахиваясь веером из десятков.

- Благодетель, – улыбнулась Марина, – играл как Рихтер.
- Фи, глупость какая. Он Шопена совсем не способен играть. Слишком кругл и академичен. И мучиться не умеет. Я как Горовиц играл.
- Ну, как Горовиц. До слез довел.

Легким жестом картежника он сложил веер в тоненькую колоду и протянул:

- Je vous pris adopter cela a signe de ma pleine disposition.
- Мерси в Баку...

Марина взяла деньги и сунула в сумочку.

Валентин снял с вешалки плащ и, словно тореадор, протянул ей:

- Прошу.

Она поймала руками рукава:

– Спасибо... Я, может, послезавтра забегу.

– Лучше – завтра.

– Завтра не могу.

– Понимаю... Слушай, киска, – он изящно тронул отворот ее бежевого плаща, – а ты... ты не могла бы и подружку свою захватить? Я б вам поиграл, чайку б попили и вообще... чудно время провели. Я бы...

Правая рука Марины медленно поднялась до уровня его рта, сложилась кулачком, сквозь который протиснулся большой палец.

Валентин усмехнулся, поцеловал кукиш в перламутровый клювик:

– Ну, молчу, молчу... Значит, послезавтра жду тебя...

– Спасибо тебе.

– Тебе спасибо, милая...

Они быстро поцеловались.

Марина тронула его гладкую щеку, улыбнулась и вышла за дверь, туда, где ждала ее жизнь – беспокойная, пьянящая, яростная, беспощадная, добрая, обманчивая, и, конечно же, – удивительная...

Марина была красивой тридцатилетней женщиной с большими, слегка раскосыми карими глазами, мягкими чертами лица и стройной подвижной фигурой.

Ее улыбчивые, слегка припухлые губы, быстрый взгляд и быстрая походка выдавали характер порывистый и беспокойный. Кожа была мягкой и смуглой, руки – изящными, с длинными тонкими пальцами, ногти которых в эту весну покрывал перламутровый лак.

Кроша каблучками полусапожек непрочный мартовский ледок, Марина бодро шла по Мещанской к Садовому кольцу в надежде поймать такси и поспешить к двум в своей заводской Дом культуры, где преподавала игру на фортепиано детям рабочих.

Она родилась тридцать лет назад в подмосковном одноэтажном поселке, вмерзшем в пористый от слез мартовский снег пятьдесят третьего года.

Сталин умер, а Марина родилась.

Детство мелькало меж частых сараев и редких сосен бескрайнего двора.

Бузина и шиповник разрослись под окнами до самой крыши, отец часто вырубал буйные кусты, но к концу лета они снова восполняли урон, а весной уже стучались в стекло колючками и сучками. В этом тесном хаосе веток, колючек и листы прodelывались ходы, тянувшиеся вдоль дряхлого забора и возле помойки заканчивающиеся просторным штабом. Здесь было просторно и тесно, пахло землей, шиповником и помойкой, крысы которой частенько забегали в штаб, заставляя малолетних стратегов визжать и швыряться камнями.

В штабе придумывали новые игры, плели заговоры против суровой домохозяйки Тимохи, разрабатывали планы набегов на дачную клубнику. Здесь же скрывались от требовательных вечерних призывов родителей, вслушивались в их сердитые голоса, скорчившись в прохладной тьме, щедро платившей за укрытие ссадинами и уколами.

– Марина! Домоооо! – кричал отец, стоя у крыльца, и сквозь переплетенье веток Марина видела оранжевый огонек его папиросы.

Он был худым, высоким, с узким черновым лицом, тонким носом и большими пухлыми губами. Любил играть с ней, учил собирать грибы, качал в гамаке, подвешенном меж двух толстых сосен, строил рожицы, рассказывал смешную чепуху.

С полочки покупал вафельные трубочки с кремом и игрушки.

– Балуешь ты ее, Ваня, – часто говорила мать, поправляя свои красиво уложенные волосы перед овальным зеркалом и с улыбкой поглядывая на хрустящую трубочками Марину.

Отец молчал, после выпитой четвертинки узкое лицо его бледнело, папираса бегала в налившихся кровью губах. По вечерам, придя с работы, засучив рукава клетчатой рубахи, он рубил дрова возле сараев, Маринка с соседским Петькой складывали их в кладню.

– Вань, смотри осторожней! – кричала мать из окна, отец оглядывался и успокаивающе поднимал тонкую худую руку.

Он работал инженером на химзаводе, уезжал рано, возвращался поздно.

Мать не работала, давала уроки музыки местным ребятишкам, брала на дом машинопись. Большую часть времени она лежала на просторной металлической кровати, положив ногу на ногу, разбросав по подушке свои красивые волосы и куря бесконечные папиросы. Сладковатый дым расплывался возле ее привлекательного лица, она улыбалась чему-то, глядя в протекший потолок.

В доме жили еще три семьи.

Длинный ломаный коридор кончался тесной кухней с тремя столами и двумя газовыми плитами, работавшими от одного зеленого баллона, спрятанного возле крыльца в металлический ящик.

Мать готовила плохо и неряшливо – котлеты подгорали, суп от многочасового кипения превращался в мутную бурду, молоко белой шапкой сползало на плиту. Зато чай, хранившийся в круглой жестяной банке, она заваривала в красивом чайнике, разливала в фарфоровые чашки и пила помногу, с удовольствием чмокая маленькими губами.

– Маринка, моя половинка, – любила говорить она, сажая Марину на колени и отводя подальше руку с потрескивающей папирсой.

Отец чай не любил – выпивал полчашки и уходил на террасу курить и читать газету.

Мать садилась к пианино, листала ноты, наигрывала романсы и тихо пела красивым грудным голосом.

Марину забавляли клавиши, она шлепала по ним руками и тоже пела, подражая матери.

Иногда мать затевала с ней музыкальные игры, стуча по басам и по верхам:

– Здесь мишка косолапый, а здесь птички поют...

В пять лет Марина уже играла вальсы и этюды Гедике, а в шесть отец уехал по договору на Север, “чтоб Маринку на юга повозить”.

Они остались вдвоем, у матери появились ученики с соседних улиц, печатать она бросила.

Марина пошла в детский сад – длинный барак, покрашенный синей краской. В нем было много знакомых мальчишек и девчонок, но игры казались скучными – какие-то праздники, которые репетировали, неинтересные стишки, танцы с глупыми притопами и прихлопами. Мальчишки здесь больше дрались, норовя дернуть за косичку или ущипнуть.

Дралась и толстая воспитательница, щедро раздавая подзатыльники. Звонкий голос ее гремел по бараку с утра до вечера.

Зато в детском саду Марина впервые узнала про ЭТО.

– Давай я тебе покажу, а после ты мне? – шепнул ей на ухо черноглазый, похожий на муравья Жорка и, оглядываясь, двинулся по коридору.

Смеясь, Марина побежала за ним.

Они прошли весь коридор, Жорка свернул и, быстро открыв зеленую дверь подсобки, кивнул Марине.

В тесной темной комнатенке стояли ведра, швабры и метла. Пыльные лучи пробивались сквозь дощатые щели заколоченного окошка.

Пахло мокрым тряпьем и хлоркой.

– Дверь-то притяни, – прошептал Жорка и стянул с плеча помощь.

За гнутую скобу Марина притворила дверь, повернулась к Жорке.

Синие штаны его упали вниз, он спустил трусики и поднял рубашку:

– Смотри...

Большой рахитичный живот со следом резинки и розочкой пупка перетекал в такой же, как и у Марины, бледный треугольник. Но там висели два обтянутых сморщенной кожей ядрышка и торчала коротенькая смуглая палочка.

– Потрогай, не бойся, – пробормотал он и, неловко переступая, подошел к ней, заслонив собой пыльные лучи.

Марина робко протянула руку, коснулась чего-то теплого и упругого.

Придерживая рубашку, Жорка склонил голову.

Они слабо стукнулись лбами, разглядывая в полумраке торчащую палочку.

– Это хуй называется. Только ты не говори никому. Это ругательное слово.

Марина снова потрогала.

– Теперь ты давай.

Она быстро подняла платье, стянула трусики.

Жорка засопел, присел, растопыря ободранные колени:

– Ты ноги-то раздвинь, не видно...

Она раздвинула ноги, оступилась и громко задела ведро.

– Тише ты, – поднял он покрасневшее лицо, просунул шершавую руку и стал ощупывать Марину.

– А у меня как называется? Писька? – спросила Марина, подергиваясь от щекотки.

– Пизда, – быстро проговорил он, и крылья ноздрей его дернулись.

– Тоже ругательное?

– Ага.

Молча он трогал ее.

Солнечный лучик попал Марине в глаз, она зажмурилась.

Жорка встал, натягивая трусы со штанами:

– Пошли, а то Жирная узнает. Ты не говори никому, поняла?

– Поняла.

Марина подняла свои трусики, опустила платье.

Они побывали в подсобке еще раза три, трогая и рассматривая друг друга.

Запах хлорки и прелого тряпья вместе с щекочущими касаниями изъеденных цыпками рук запомнились навсегда. Тогда в ней что-то проснулось, толкнувшись в сердце сладковатой тайной.

– Это наша тайна, поняла? – часто шептал ей Жорка, трогая пухленький пирожок ее гениталий.

Марина стала расспрашивать старших подруг по двору, и в перерыве между громкими играми, когда прыгалки бесцельно мотались в руке, в ухо вползла запыхавшаяся истина:

– У него павочка, а у тебя дывочка. Фот и фсе!

– Что все?

– Павочка в дывочку.

Неделю Марина переваривала откровение, изумленно косясь на людей, которые отныне делились на “палочек” и “дырочек”.

– Надь, а это все делают? – спросила она у плетущей венки подруги.

– Фсе, конефно. Только детям не развефают. А взрослые – фсе. Я два ваза видела, как мама с папой. Интевесно так...

– А ты, когда вырастешь, будешь так делать?

– Ага. А как же. От этого дети бывают.

– Как?

– Ну, так поделают, поделают, а потом вывот развежут и вебенка вынут. Митьку нашего так вынули.

Утром в набитом автобусе мать везла ее в детсад, Марина внимательно смотрела на окружающих ее пассажиров – смешливых и устало-молчащих, красивых и невзрачных.

Там, под платьями и брюками, росли палочки, открывались дырочки, стаскивалась одежда, палочки лезли в дырочки, и разрезались страшными ножами животы, и вынимались спеленутые дети с сосками в ротиках, укладывались в приготовленные коляски, а коляски со скрипом развозились по дворам и улицам.

Она не верила.

Жорка тоже не верил, хотя услышал об этом гораздо раньше:

– Дура, дети от лекарств бывают. А этого никогда не делают. Это как бы ругательство такое... Дураки придумали...

Но Надя укоризненно оттопыривала рыбью губку:

– Ты фто! Мне же Мафа гововила, а она в фестом квасе! Не вевишь – не надо...

Марина верила и не верила. Верила и не верила до той самой НОЧИ.

Вспоминая предшествующий день, Марина с удивлением обнаруживала новые и новые многозначительные случайности, делающие его особым: Жирная заболела и не пришла, вместо нее была молоденькая светловолосая уборщица Зоя, Васька Лотков сломал себе руку, прыгая с батареи на пол, в кастрюле с компотом нашли сварившуюся крысу с жалко подогнувшимися лапками и белыми выпученными глазами...

А вечером мать пришла за ней в новом коричневом платье, с новой прической и ярко накрашенными губами.

Сунув ей шоколадку, она быстро повела к остановке:

– Пошли, Мариночка...

В автобусе Марина ела шоколад, шелестя фольгой, мать смотрела в окно, не замечая ее.

Когда они вошли в свою комнату, там пахло табаком и цветами, которые стояли в синей вазе посреди накрытого стола. За столом сидел широкоплечий светловолосый мужчина в сером пиджаке, пестром галстуке и читал книгу, помешивая чай в стакане. Заметив вошедших, он неторопливо встал и, присев перед Мариной на корточки, протянул большую ладонь:

– Аааа... вот, значит, и красавица Марина. Здравствуй.

Марина протянула руку и посмотрела на мать.

– Ну, поздоровайся с дядей Володей, что ж ты... – пробормотала мать, странно улыбаясь и глядя мимо.

– Здрасьте, – сказала Марина и опустила голову.

– Вот и застеснялись, – засмеялся дядя Володя, обнажив ровные белые зубы.

– Всегда такая бойкая, а теперь застеснялась, – наклонилась к ней мать. – Идем я тебя покормлю...

Она стремительно повела Марину на кухню, где в чаду толкались возле плит пять женщин. Все они повернулись и посмотрели на мать, кто-то сказал, что Танечка сегодня очаровательна. Улыбаясь им, мать плюхнула Марине холодного пюре, сверху положила длинный раскисший огурец с огромными белыми семечками:

– Поешь и приходи. Чаю выпей...

Процокав каблучками по коридору, она скрылась.

Марина стала ковырять пюре алюминиевой ложкой, полная Таисия Петровна из четвертой, запахнув полинявший китайский халат, наклонилась к ней, погладила по голове белой от стирки рукой:

– Мариночка, а кто это к вам приехал?

– Дядя Володя, – четко проговорила Марина, кусая водянистый огурец.

Таисия Петровна со вздохом выпрямилась и улыбнулась тете Клаве, переворачивающей рыбные котлеты:

– Дядя Володя...

Та слабо засмеялась, отгоняя чад рваным полотенцем.

Марине показалось, что они знают что-то очень важное. Она доела пюре, огурец кинула в ведро и пошла к себе.

В комнате было накурено, горела люстра, мать играла “Посвящение”, дядя Володя покачивался в плетеном кресле, подперев щеку рукой с папирсой.

Марина приблизилась к разоренному столу, взяла конфету и ушла на террасу.

Весь вечер мать с дядей Володей пили чай, танцевали под патефон, курили и оживленно разговаривали.

Стемнело.

Двор за облупившимся переплетом террасы опустел, в домах зажглись окна. Марина смотрела, как в окне напротив Нина Сергеевна кормит Саньку с Олегом, потом листала подшивку “Крокодила”, разглядывая толстых некрасивых генералов с тонкими паучьими ножками, потом вырезала из цветной бумаги лепестки, сидя за своим маленьким столиком.

Прошло много времени, окна стали гаснуть, вырезанные лепестки Марина наклеила в тетрадку.

В стеклянную дверь было видно, как дядя Володя, улыбаясь, что-то говорил маме, держа перед собой рюмку с вином. Мать медленно подняла свою, вздохнула и, рассмеявшись, выпила, быстро запрокинув красивую голову. Дядя Володя выпил медленно и вылил остатки в чай.

Он сидел без пиджака, пестрый галстук красиво лежал на белой рубашке.

Мать встала, прошла на террасу и наклонилась к Марине:

– Ты спать хочешь.

– Да нет, не хочу... – бормотала Марина, разглядывая незнакомое раскрасневшееся лицо с пьяно поблескивающими глазами.

– Хочешь, хочешь, куколка. Пошли, я тебе в комнате постелю, а мы с дядей Володей здесь посидим.

Марина двинулась за ней.

Румяный дядя Володя улыбнулся ей, пожелал доброй ночи и, прихватив бутылку с рюмками, ушел на террасу.

Мать быстро разобрала постель, передела Марину в ночную рубашку, поцеловала пьяными губами, уложила и погасила свет.

Марина легла щекой на тяжелую сыроватую подушку, стеклянную дверь плотно притворили.

Эту ночь Марина помнила ясно и подробно.

В комнате было душно и накурено, лишь из открытой форточки тянуло прохладой. Букет гладиолусов маячил в темноте белым пятном. В соседнем дворе хрипло лаяла собака.

Марина смотрела на светящуюся стеклянную дверь, за которой тихо смеялись и разговаривали. Прямоугольная полоска света вместе с клетчатой тенью дверного переплета лежала на полу, задевая верхним углом кровать Марины.

Прижавшись щекой к подушке, она все смотрела и смотрела на дверь, пока глаза не стали слипаться. Марина терла их кулачком, но желтая дверь двоилась, расплывалась, обрывки сна лезли в голову. Еще минута, и она провалилась бы в сон, но свет вдруг погас, темнота заставила проснуться.

Собака уже не лаяла, а бессильно поскуливала.

Дверь распахнулась, Марина закрыла глаза, чувствуя, как мать осторожно входит в комнату. Туфли громко касались пола. Мать приблизилась, пахнувшие табаком руки поправили одеяло.

Потом она так же на цыпочках вышла и притворила дверь.

– Конечно, спит... – услышала Марина ее приглушенный стеклом шепот.

С этого мгновенья Мариного сердце забилось чаще. Окружавшая ее тьма усиливала этот нарастающий стук.

За дверью наступила тишина, потом еле слышный шорох одежды, шепот и снова тишина. Потом что-то подвинули, что-то упало и покатилося по полу.

Марина подняла голову, освобождая второе ухо. Сердце стучало, отдавая в виски.

Снова послышался шорох одежды, шепот и легкий скрип отцовской кровати. Проехал ножками по полу отодвигаемый стул, и стало тихо.

Марина вслушивалась в тьму, приподнявшись, но кроме собаки и патефона на том конце улицы ничего не было слышно. Время шло, и, улыбнувшись, она опустила голову на подушку: вот они, Надькины враки. Да и как она могла поверить! Такая глупость...

Ее напряженное тело расслабилось, глаза стали слипаться.

И вдруг неожиданно, как вспышка света, возник громкий звук скрипящей кровати. Она скрипела ритмично, на ней что-то делали с неторопливым упорством.

Марина приподняла голову.

Кровать скрипела, и слышалось еще что-то, похожее на хныканье.

В висках снова застучало.

Скрип изредка прерывался бормотанием, шепотом, затем продолжался. Когда он убыстрялся, хныканье становилось громче, кровать стучала спинкой о стену.

Мать с дядей Володи что-то делали.

Марина села, осторожно откинула одеяло.

Сердце неистово колотилось, заставляя прокуренную тьму пульсировать в такт.

Кровать заскрипела чаще, и до Марины долетел слабый стон. Это стонала мать.

Мелкая зыбкая дрожь овладела Мариной. Посидев немного, она спустила ноги с кровати. Как только ступни коснулись холодного пола, дрожь тут же унялась, словно стекла по ногам.

Кровать оглушительно скрипела, спинка стучала.

Марина подошла к двери и заглянула, привстав на цыпочках.

Мутно-желтый свет висящей над крыльцом лампочки скупо освещал террасу, пробиваясь сквозь заросли шиповника и бузины. Неровные клочья его дрожали на полу, столе, стенах. В этом часто подрагивающем калейдоскопе что-то двигалось, двигалось, двигалось, заставляя скрипеть кровать.

Привстав еще больше, Марина посмотрела в угол.

Там, в пятнах света, в сбившейся простыне сплелись два обнаженных тела. Широкая спина дяди Володи скрывала мать – были видны только руки, глядящие мужские плечи, причудливо разметававшиеся по подушке волосы и ноги – сильно разведенные, пропустившие тесно сжатые ноги дяди Володи. Это он тяжело и часто двигался, словно стараясь еще больше втиснуть мать в прогнувшуюся кровать, его голый, слегка плоский зад поднимался и опускался, поднимался и опускался, руки по локти ушли под подушку. Все это качалось, плыло вместе с покачивающимися кусками света, черные ветки бузины царапались в стекла.

Вдруг ноги матери ожили, согнулись в коленях и оплели ноги дяди Володи. Он стал двигаться быстрее. Мать застонала, вцепившись в его плечи, высветилось на мгновенье бледное незнакомое лицо. Глаза были прикрыты, накрашенные губы разошлись гримасой.

Марина смотрела, смотрела, смотрела. Все в ней превратилось в зрение, руки прижались к стеклу, снова появилась дрожь, но уже другая – горячая, расходящаяся откуда-то из середины груди.

Мать стонала, и с каждым стоном что-то входило в Марину – новое, сладкое и таинственное, вспухающее в груди и бешено стучащее в висках.

Она видела их тайну, она чувствовала, что им хорошо, она понимала – то, что они делают, делать им нельзя...

Дядя Володя глухо застонал в мамины волосы и замер без движения.

Ноги матери расплелись.

Несколько минут они лежали неподвижно, предоставив пятнам света ползать по их разгоряченным телам. Потом дядя Володя перевернулся на спину и лег рядом с матерью.

Марина опустила на корточки.

Послышался шепот, шорох одеяла.

Они вытерли пододеяльником у себя между ног. Там было темно, и Марина ничего не разглядела, кроме белой материи и устало движущихся рук.

– Танюш, дай папиросы... – глухо проговорил дядя Володя.

Отстранившись от двери, Марина прошла по полу и нырнула под одеяло.

Этой ночью она почти не спала. Сон не успевал охватывать ее, как кровать снова ожидала, заставляя сбросить одеяло и на цыпочках красться к двери. Это продолжалось много раз, ветер качал лампочку, ветви стучали, мать стонала, а дядя Володя терся об нее...

Марина не помнила, как заснула. Ей снился детский сад – ярко, громко. Жирная рассказывает им про Артек, а они слушают, сидя в узкой столовой. Солнце через распахнутые окна освещает длинный стол, накрытый цветастой клеенкой. Клеенка блестит от солнечных лучей, на ней дымятся тарелки с красным борщом.

Жирная возвышается над ними, солнце играет в ее волосах, брошке, звучный голос заполняет столовую:

– Артек! Артек, ребята! Артек – это сказка, ставшая былью!

На правой стене висит большой портрет Ленина, убранный как на праздник – красными бумажными гвоздиками.

Ленин улыбается Марине и весело говорит, картавя:

– Агтек, Маиночка, Агтек!

Марина наклоняется к переливающемуся жировыми блестками борщу, зачерпывает его ложкой, но Жирная вдруг громко кричит:

– Не смей жрать! Встань! Встань на стол!

Марина быстро вскарабкивается на стол.

– Сними трусы! Подними юбку! – кричит Жирная, трясаясь от злобы.

Холодеющими руками Марина поднимает юбку и спускает трусы.

– Смотрите! Все смотрите! – трясется Жирная и вдруг начинает бить Марину ладонью по лицу. – На! На! На!

Марина плачет. Ей больно и сладко, невообразимо сладко.

Все, все: ребята, девочки, Ленин, уборщицы, воспитательницы, родители, столпившиеся в узкой двери, – все смотрят на нее, она держит юбку, а Жирная бьет своей тяжелой, пахнущей цветами и табаком ладонью:

– На! На! На! Выше юбку! Выше! Ноги! Ноги разведи!

Марина разводит дрожащие ноги, и Жирная вдруг больно хватает ее между ног своей сильной когтистой пятерней.

Марина кричит, но злобный голос перекрикивает ее, врываясь в уши:

– Стоять! Стоять! Стоять!! Шире ноги! Шире!!

И все смотрят, молча смотрят, и солнце бьет в глаза – желтое, нестерпимое, дурманяще-грозное...

Серая “Волга” плавно затормозила, сверкнув приоткрытым треугольным стеклом.

Марина открыла дверь, встретила глазами с вопросительным лицом бодрого старичка.

– Метро “Автозаводская”...

– Садитесь, – кивнул он, улыбаясь и отворачиваясь.

Седенькая голова его по уши уходила в темно-коричневую брезентовую куртку.

Марина села, старичок хрустнул рычагом и помчался, поруливая левой морщинистой рукой. В замызганном салоне пахло бензином и искусственной кожей.

Машину сильно качало, сиденье скрипело, подбрасывая Марину.

– Вам само метро нужно? – спросил старичок, откидываясь назад и вытаскивая сигареты из кармана куртки.

– Да. Недалеко от метро...

– Как поедет? По кольцу?

– Как угодно... – Марина раскрыла сумочку, отколупнула ногтем крышку пудреницы, поймала в зеркальный кругляшок свое раскрасневшееся от быстрой ходьбы лицо.

– Хорошая погодка сегодня, – улыбнулся старичок, поглядывая на нее.

– Да...

– Утром солнышко прямо загляденье.

– Угу... – она спрятала пудреницу.

– Вы любите солнечную погоду?

– Да.

– А лето любите? – еще шире заулыбался он, все чаще оглядываясь.

– Люблю.

– А за город любите ездить? На природу?

– Люблю, – вздохнула Марина. – Охуительно.

Он дернулся, словно к его желтому уху поднесли электроды, голова сильнее погрузилась в куртку:

– А... это... вам... по кольцу?

– По кольцу, по кольцу... – устало вздохнула Марина, брезгливо разглядывая шофера – старого и беспомощного, жалкого и суетливого в своей убого-ущербной похотливости...

Дядя Володя еще несколько раз приезжал к ним, оставаясь на ночь, и она снова все видела, засыпая только под утро.

В эти ночи ей снились яркие цветные сны, в которых ее трогали между ног громко орущие ватаги ребят и девочек, а она, оцепенев от страха и стыда, плакала навзрыд. Иногда сны были сложнее – она видела взрослых, подсматривала за ними, когда они мылись в просторных, залитых светом ваннах, они смеялись, раздвигая ноги и показывая друг другу что-то черное и мокрое. Потом они, заметив ее, с криками выскакивали из воды, гонялись, ловили, привязывали к кровати и, сладко посмеиваясь, били широкими ремнями. Ремни свистели, взрослые смеялись, изредка трогая Марину между ног, она плакала от мучительной сладости и бесстыдства...

Однажды после бессонной ночи она сидела в туалете и услышала утренний разговор соседок на кухне.

– Дядя... дядя Володя... – яростно шептала Таисия Петровна Зворыкиной. – Ты б послушала, что ночью у них на террасе творится! Заснуть невозможно!

– А что, слышно все? – спросила та, громко мешая кашу.

– Конечно! Месит ее, как тесто, прям трещит все!

– Ха, ха, ха! Ничего себе...

– Муж уехал, а она ебаря привела. Вот теперь как...

Марина ковыряла пальцем облупленную дверь, жадно вслушиваясь в новые слова. Ебарь, сука, блядище – это были незнакомые тайные заклинания, такие же притягательные, как новые сны, как скрип и стоны в темноте.

Мать не менялась после приездов дяди Володи, только синяки под глазами и припухшие губы выдавали ночную тайну, а все привычки оставались прежними. Она смеялась, играя с Мариной, учила ее музыке, привычным шлепком освобождая зажатые руки, напевала, протирая посуду, и печатала, сосредоточенно шевеля губами.

Марина стала приглядываться к ней, смотрела на ее руки, вспоминая, как они смыкались вокруг чужой шеи, помнила сладостное подрагивание голых коленей, на которых теперь так безмятежно покоилось вязание...

“Она показывает ему все, – думала Марина, глядя на опрятно одетую мать. – Все, что под лифчиком, все, что под трусами. Все, все, все. И трогает он все. Все, что можно”.

Это было ужасно и очень хорошо.

Все, все, все показывают друг другу, раздвигают ноги, трутся, постанывая, скрипят кроватями, вытираются между ног. Но в электричке, в метро, на улице смотрят чужаками, обтянув тела платьями, кофтами, брюками...

– Мама, а отчего дети бывают? – спросила однажды Марина, пристально глядя в глаза матери.

– Дети? – штопающая мать подняла лицо, улыбнулась. – Знаешь детский дом на Школьной?

– Да.

– Вот там их и берут. Мы тебя там взяли.

– А в детском доме откуда?

– Что?

– Ну, раньше откуда?

– Это сложно очень, девулькин. Ты не поймешь.

– Почему?

– Это малышам не понять. Вот в школу пойдешь, там объяснят. Это с наукой связано, сложно все.

– Как – сложно?

– Так. Вырастешь – узнаешь.

Через полгода вернулся отец.

Еще через полгода она пошла в школу, чувствуя легкость нового скрипучего ранца и время от времени опуская нос в букетище белых георгинов.

Длинный, покрашенный в зеленое класс с черной доской, синими партами и знакомым портретом Ленина показался ей детским садом для взрослых.

Все букеты сложили в огромную кучу на отдельный стол, научили засовывать ранцы в парты.

Высокая учительница в строгом костюме прохаживалась между партами, громко говоря о Родине, счастливом детстве и наказе великого Ленина: учиться, учиться и учиться.

Школа сразу не понравилась Марине своей звенящей зеленой скукой. Все сидели за партами тихо, с испуганно-внимательными лицами и слушали учительницу. Она еще много говорила, показывала какую-то карту, писала на доске отдельные слова, но Марина ничего не запомнила и на вопрос снимающей с нее ранец матери, о чем им рассказывали, ответила:

– О Родине.

Мать улыбнулась, погладила ее по голове:

– О Родине – это хорошо...

С тех пор потянулись однообразные сине-зеленые дни, заставляющие готовить уроки, рано вставать, сидеть за партой, положив на нее руки, и слушать про палочки, цифры, кружочки.

Гораздо больше ей нравилось заниматься дома музыкой, разбирая ноты и слушая, как мать играет Шопена и Баха.

Через год сгорел соседский дом, и Надька научила ее заниматься онанизмом.

Еще через два года отец повез Марину к морю.

Когда оно – туманное и синее – показалось меж расступившихся гор, Марина неожиданно для себя нашла ему определение на всю жизнь:

– Сгущенное небо, пап!

Они поселились в белом оплетенном виноградом домике у веселого старичка, с утра до вечера торчащего на небольшой пасеке.

После того как отец сунул в его заскорузлые от прополиса руки “половину вперед”, присовокупив побулькивающую четвертинку “Московской”, старичок расщедрился на дешевые яйца и мед.

– А хотите – тут и камбалой разжиться можно. У Полины Павло привозит. Я ж зараз поговорю с ним...

Но ждать переговоров с Павлом они не стали – перерытый чемодан был запихнут под койку, Марина зубами сорвала гумовскую бирочку с нового купальника, отец вышел из-за занавески в новых красных плавках:

– Давай быстрее, Мариш.

Десятиминутная каменистая дорожка до моря петляла меж проглоченных зеленью домиков, скользила над обрывом и стремительно, по утоптанному известняку катилась вниз, навстречу равномерному и длинному прибою.

– Живое, пап, – жадно смотрела Марина на шипящее у ног море, стаскивая панамку с головы.

Отец, сидящий на песке и занявший рот дышащей тальком пипкой резинового круга, радостно кивал.

Через минуту Марина визжала в теплом, тягуче накатывающемся прибое, круг трясся у нее под мышками.

– По грудь войди, не бойся! – кричал уплывающий отец, увозя за собой белые, поднятые ногами взрывы.

Марина ловила волну руками, чувствуя ее упругое ускользящее тело, пила соленую вкусную воду и громко звала отца назад.

– Трусиха ты у меня, – смеялся он, бросаясь на горячий песок и тяжело дыша. – Вся в мамочку.

Марина сидела на краю прибоя, с восторгом чувствуя, как уходящая волна вытягивает из-под нее песок.

Сгущенное небо вытеснило все прошлое, заставило забыть Москву, подруг, онанизм.

Утром, сидя под виноградным навесом, они ели яйца с помидорами, пили краснодарский чай и бежали по еще не нагретой солнцем тропинке.

На диком пляже никого не было. Отец быстро сбрасывал тенниску, парусиновые брюки и, разбежавшись, кидался в воду. Он заплывал далеко, Марина залезала на огромный, всосанный песком камень, чтоб разглядеть мелькающее пятно отцовской головы.

– Пааааап!

Сидящие поодаль чайки поднимались от ее крика и с писком начинали кружить.

Отец махал рукой и плыл назад.

Часто он утаскивал ее, вдетую в круг, на глубину. Марина повизгивала, шлепая руками по непривычно синей воде, отец отфыркивался, волосы его намертво приклеивались ко лбу...

На берегу они ели черешню из куляка, пуляя косточками в прибой, потом Марина шла наблюдать за крабами, а отец, обмотав голову полотенцем, читал Хемингуэя.

Через неделю Марина могла проплыть метров десять, шлепая руками и ногами по воде.

Еще через неделю отец мыл ее в фанерной душевой под струей нагретой солнцем воды. Голая Марина стояла на деревянной, голубоватой от мыла решетке, в душевой было тесно, отец в своих красных плавках сидел на корточках и тер ее шелковистой мочалкой.

От него сильно пахло вином, черные глаза весело и устало блестели. За обедом они со старичком выпили бутылку портвейна и съели сковороду жареной камбалы, показавшейся Марине жирной и невкусной.

– Ты какая в классе по росту? – спросил отец, яростно намыливая мочалку.

– В классе?

– Да.

– Пятая. У нас девочки есть выше.

Он засмеялся, обнажив свой веселый стальной зуб, и, повернув ее, стал натирать спину:

– Выросла и не заметил как. Как гриб.

– Подосиновик?

– Подберезовик! – громко захохотал отец и, отложив мочалку, принялся водить по ее белой спине руками.

Пена с легким чмоканьем капала на решетку, сквозь дырки в фанере пробивался знойный полуденный свет.

– Вот. Спинка чистенькая. А то просолилась... вот так...

Его руки, легко скользящие в пене, добрались до Марининых ягодиц:

– Попка тоже просолилась... вот...

– Попка тоже просолилась, – повторила Марина, прижимая мокрые ладошки к фанере и любуясь пятипалыми отпечатками.

Отец начал мылить ягодицы.

Он мыл ее впервые – обычно это делала мать, быстрые и неумелые руки которой никогда не были приятны Марине.

Грубые на вид отцовские ладони оказались совсем другими – нежными, мягкими, неторопливыми.

Марина оттопырила попку, печатая новый ряд ладошек.

– Вот красулячка какая...

Она сильнее оттопырилась, выгнув спину. Отцовская рука скользнула в промежность, и Марина замерла, рассматривая отпечатки.

– Вот... и тут помыть надо...

Средний палец скользнул по гениталиям. Сильнее разведя ноги, она присела, пропуская его:

– Ой... как приятно, пап...

Отец тихо засмеялся и снова провел по гениталиям.

– Ой... как хорошо... еще, пап...

Это было так же восхитительно, как лежать в набегающем прибое, всем телом отдаваясь ласке упругих волн.

– Еще, пап, еще...

Посмеиваясь, отец гладил ее промежность.

Марина разводила и сводила ноги, мокрые прилипшие к плечам волосы подрагивали.

В неровной широкой щели виднелся край залитой солнцем пасеки и полоска синего неба, пересеченного мутным следом реактивного самолета.

Внезапно сладостный прибой прервался:

– Ну, хватит. Давай окатываться...

– Пап, еще! Еще так поделай.

– Хватит, хватит, Марин. Мы долго тут возимся...

– Пап, еще...

– Не капризничай...

Он повернул вентиль, вода неровно полилась сверху.

– Да ну тебя, – обиженно протянула Марина, выпрямляясь под душем, и вдруг заметила, как торчат красные плавки отца.

Сгущенное небо отошло назад, скрылось за сомкнувшимися розовыми горами, нахлынула тьма, пропахшая цветами и табаком, всплыл ритмичный скрип, Марина вспомнила тайные Надькины уроки...

Делая вид, что смотрит в щель, она косилась на плавки.

ОН торчал вверх, растягивая их своим скругленным концом, торчал, словно спрятанная в плавках морковь. Нагибаясь к Марине, отец неловко маскировал его, прижимая локтем. Он уже не смеялся, лицо поджалось, алые пятна играли на щеках.

Через минуту вентиль был закрыт, широкая махровая простыня с головы до ног накрыла Марину:

– Вытирайся быстро и дуй в комнату.

Фанерная дверка распахнулась, ослепив открывшимся миром, отцова ладонь шлепнула сзади:

– Быстро... я окачусь, приду щас...

Щурясь, Марина ступила на горячие кирпичи дорожки, дверца закрылась, и послышался звук сдираемых плавков.

Вытираясь на ходу и путаясь в простыне, она взбежала на крыльцо, прошла в комнату. Новые трусики, белые носки с синей каемочкой и зеленое платице с бретельками лежали комом на кровати. Отшвырнув простыню, Марина стала натягивать трусики и, случайно прикоснувшись к гениталиям, замерла.

“Так вот сожмешь ноги, представишь мужчину с женщиной... – всплыли слова Нади, – и так вот – раз, раз, раз... так здорово...”

Марина легла на кровать, согнула ноги в коленях и, поглаживая себя, закрыла глаза.

В перегретой комнате было душно, пахло краской и влажным постельным бельем. Сильно привернутое радио что-то строго рассказывало комариным голосом.

Представив дядю Володю с матерью, она стала сильно тереть свой пирожок, через пару минут ей стало очень, очень хорошо, сжав колени, она застонала, глядя в потолок – белый, беспредельный и сладкий, добрый и родной, усыпляюще-успокаивающий...

– Через мост переедем и направо, – проговорила Марина, вынимая из расшитого бисером кошелька два металлических рубля.

Старичок, не оборачиваясь, кивнул, пролетел по мосту и лихо развернулся.

– Прямо, прямо, – продолжала Марина, держась за ручку двери.

Массивные серые дома кончились, показалось желтое двухэтажное здание ДК.

– Остановите здесь, пожалуйста...

Старичок затормозил, Марина протянула ему два рубля. Они звякнули в его украдкой протянутой руке.

– До свидания, – пробормотала Марина, открывая дверь и ставя ноги на грязный асфальт.

– До свидания, – непонимающе посмотрел он.

Дверца хлопнула, Марина с удовольствием вдохнула сырой мартовский воздух. Желтый ДК с пузатыми колоннами высился в десяти шагах.

В такую погоду он выглядел особенно жалко – на колоннах темнели потеки, облупившийся фриз напоминал что-то очень знакомое...

Марина поднялась по каменным ступенькам и потянула дверь за толстую пообтертую ручку – простую, примитивную, тупо-исполнительную в своей тоталитарной надежности...

В ту ночь она проснулась от нежных прикосновений.

Пьяный отец сидел на корточках рядом с кроватью и осторожно гладил ее живот.

Марина приподняла голову, спросонья разглядывая его:

– Что, пап?

В комнате стояла душная тьма, голый отец казался маленьким и тщедушным.

– Марин... Мариночка... а давай я это... – бормотал он, сдвигая с нее одеяло.

Она села, протирая глаза.

– Давай... хочешь я тебе там поглажу... ну... как в душе...

От него оглушительно пахло вином, горячие руки дрожали. Он сел на кровать, приподнял Марину и посадил к себе на колени. Его тело, как и руки, было горячим и напряженным. Он стал гладить ее между ног, Марина замерла в полусне, положив тяжелеющую голову ему на плечо. Ей стало приятно, сон быстро возвращался, нежный прибой шевелился между ног.

Она очнулась от острой боли внизу живота. Обхватив дрожащими руками, отец сажал ее на что-то твердое, скользкое и горячее.

Она вскрикнула, отец испуганно отстранился:

– Ну, не буду, не буду...

Хныкая, она легла на кровать, свернулась калачиком.

Низ живота ныл, ей казалось, что отец что-то оставил там, не вынув:

– Больно, пап...

– Ну, не буду, не буду... не буду, милая...

Он долго бормотал в темноте, поглаживая ее. Потом опять взял на руки и жадно зашептал на ухо:

– Марин... я только так вот... тебе хорошо будет... раздвинь ножки вот так... шире, шире...

“Шире! Шире!!” – закричала в ее сонной голове Жирная, и знакомая стыдливая сладость хлынула в грудь.

Марина раздвинула ноги.

– Шире, Мариночка, шире... “Шире! Шире ноги!! Шире!!”

Стыд и сладость помогли ей стерпеть повторную боль. Что-то вошло в нее и, нещадно растягивая, стало двигаться.

– Я немного... Марин... так вот... это полезно... – шептал отец в ее волосы, хрипло дыша перегаром.

Тьма шевелилась, смотрела на нее глазами столпившихся в дверях родителей, кто-то шептал в такт отцовским движениям:

– Шире... шире... шире... шире...

Она покачивалась на отцовских ногах, ткнувшись лицом в его потное плечо, кровать тоже покачивалась, и подоконник покачивался, и едва различимая люстра, и редкие звезды в окне, и темнота:

– Сладко-стыдно... сладко-стыдно... сладко-стыдно...

Вскоре отец дернулся, словно кто-то толкнул его, дрожащие руки сжали Марину:

– Нааааа... ммнааа... ммнааа... ммм...

Из его скрытых тьмою губ рвалось что-то, плечи тряслись.

Он снова дернулся.

Больно и резко вышло из нее горячее и липкое, Марина оказалась на кровати, отец проволоком ноги по полу и рухнул на свою койку.

Марина потрогала промежность. Там было липко и мокро.

Слабо дыша, отец лежал не шевелясь.

Замерев, Марина смотрела на скупые очертания люстры и трогала свои липкие бедра. Низ живота немного болел, голова кружилась, и хотелось спать.

Вскоре отец захрапел.

Марина натянула одеяло и тут же провалилась в яркий большой сон. Ей снилось бесконечное море, по которому можно было спокойно ходить, не проваливаясь. Она шла, шла по синему, теплому и упругому, ветер развевал волосы, было очень хорошо и легко, только слегка болел низ живота. Марина посмотрела туда, разведя ноги. В ее пирожке угнездился краб. Она протянула к нему руку, но он угрожающе раскрыл клешни, еще глубже забрался в розовую щель.

“Нужна палочка, – подумала Марина. – Без палочки его не выковырнуть...”

Но вокруг было только море и больше ничего, море на все четыре стороны.

Она побежала, едва касаясь ногами упругой поверхности, потом подпрыгнула и полетела в надежде, что встречный ветер выдует краба из щели. Ветер со свистом тек через ее тело, раздирая глаза, мешая дышать. Марина развела ноги, и свистящая струя ворвалась в пирожок. Краб пятился, прячась, но клешни отлетели. Видя, что он безоружен, Марина попыталась выдернуть его из себя.

Это оказалось не так просто – скользкий панцирь вжимался в складки гениталий, ножки не давались. Она нажала посильней, и панцирь хрустнул, краб обмяк.

Марина с облегчением вытащила его и бросила вниз. Раздавленный краб бессильно закувыркался, удаляясь, но за ним сверкнула на солнце тончайшая леска, потянувшаяся из гениталий. Марина схватила ее руками, дернула, но та не кончалась, все длилась и длилась, вытягиваясь из Марины и неприятно щекоча. Ветер ослаб, Марина почувствовала, что падает. Леска путалась между ног, море приближалось, снова засвистел в ушах ветер.

Марина зажмурилась, врезалась в море и проснулась.

Солнечный луч еще не упал на групповую фотографию смуглолицых моряков, висящую над ее кроватью. Невысвеченные моряки дружно улыбались Марине. В третьем ряду, шестым слева улыбался молодой старичок-пасечник.

Узкая койка отца была пуста, скомканная простыня сползла на пол, обнажив полосатый матрац.

Марина сбросила одеяло, спустила ноги и чуть не вскрикнула: боль шевельнулась внизу живота. Морщась, она встала и посмотрела, раздвинув колени. Ее пирожок сильно вспух, покраснел и болел от прикосновений. Ноги были в чем-то засохшем, похожем на клей, смешанном с кровью.

Марина захныкала, хромя подошла к стулу, сняла со спинки платье. На улице восходящее солнце пробивалось сквозь густые яблони соседа, белая кошка спокойно шла по забору, старичок-пасечник притворял дверцу сарая, прижимая к груди полдюжины испачканных куриным пометом яиц.

– Здрасьте, – негромко сказала Марина и зевнула.

– Здоровеньки, дочка. То ж ранние птахи, шо батька твий, шо ты. Солнце не встало, а вин побиг до моря, як угорилый. Чого так торопиться? Не сторит ведь, ей-бо...

– А когда он пошел? – спросила Марина.

– Давно. Зараз повернется... Погодь.

Но отец не вернулся ни через час, ни к обеду, ни к ужину.

Его выловили через неделю, когда прилетевшая самолетом мать уже успела за три дня прокурить всю дедову избушку.

Хмурым утром в зашторенное окно к ним постучал коричневолицый участковый, мать стала быстро одеваться, раздраженно приказывая Марине сидеть и ждать ее.

– Я боюсь, мам, я с тобой! – кричала сонная Марина, цепляясь за ускользящее платье.

Мать быстро вышла.

Лихорадочно одевшись, Марина побежала за ней. Пестрая мать шла с синим участковым по знакомой тропинке.

Хныча, Марина преследовала их.

Несколько раз мать оглядывалась, грозя ей, потом отвернулась и не обращала внимания...

Он лежал навзничь на мокром брезенте, в окружении немногочисленной толпы.

Втащенная на берег лодка спасателей, задрав кверху крашенный нос, равнодушно подставила обрубленный зад окрепшему за ночь прибою.

– Всем разойтись зараз! – выкрикнул участковый, и толпа неохотно расступилась.

– Господи... – Мать остановилась, прижала ладони к вискам.

Участковый расталкивал смотрящих баб:

– Шоб быстро! Идите отсюда! А ну!

Отец лежал, красные плавки ярко горели на бледно-синем теле.

– Господи... – Мать подошла, топя туфли в песке.

Трое местных спасателей распивали поодаль бутылку.

– Охааа... родненький ты мий... – протянула полная босая баба, подперев пальцем стянутую белым платком щеку.

Марина подбежала к матери, намертво вцепилась в ее платье.

– Это он? – тихо спросил участковый, подходя.

Мать кивнула.

Следы багра на боку и бедре кто-то уже успел присыпать песком.

Раскрыв черный планшет и присев на колено, участковый стал медленно писать, шевеля облупившимися губами.

Мать молча плакала, прижав руки к щекам.

Марина жадно смотрела на синее неподвижное тело, которое неделю назад смеялось, плавало, пахло потом, сладко покачивало на горячих коленях.

– Придется в Новороссийск везти, шоб вскрытие сделали. С машиной помогу, – пробормотал участковый, снимая фуражку и вытирая лысоватую голову платком. – А хоронить вы в Москву повезете или здесь?

Мать молчала, не глядя на него.

Он пожал широкими плечами:

– У нас тут кладбище аккуратное...

Мать молчала, ветер шевелил ее платье и концы бабьих платков.

Прибой дотянулся до пыльного сапога участкового, слизнул с него пыль, заставив заблестеть на только что выглянувшем солнце...

– Ну куда, куда ты летишь! – раздраженно шлепнула Марина по своей вельветовой коленке.

Старательно мучающая клавиши девочка замерла, покосилась на нее.

– Счет какой?

– Четыре четверти...

– А почему ты вальсируешь?

Девочка опустила непропорционально маленькую голову, посмотрела на свои пальцы с обкусанными полумесяцами ногтей.

– Сыграй сначала.

Девочка вздохнула, выпрямляя шерстяную спину с лежащими на ней косичками, и начала прелюд снова.

– Легче... легче... ты же зажата вся... – нервно стуча каблучками по неровному паркету, Марина подошла к ней, вцепилась в худые плечики и качнула. – Вот, смотри, как статуя... отсюда и звук пишущей машинки...

Смущенно улыбаясь, девочка качалась в Марининых руках. Красный пионерский галстук трясся на ее плоской груди.

“Я индюк – красные сопли...” – вспомнила Марина и улыбнулась.

– Ну, давай по-хорошему. Свободно, ясно, следи за счетом. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре...

Девочка принялась играть, старательно поднимая брови.

За окном посверкивала частая капель, широкоплечий дворник в ватнике, платке и юбке скалывал с тротуара черный блестящий на солнце лед.

Прелюд незаметно сбился на вальс.

– Снова-здорово. Ну что с тобой сегодня, Света? – Марина повернулась к ней. – Метроном есть у тебя дома?

– Нет...

– Купи. Если так считать не в силах – купи метроном.

Ученица снова посмотрела на свои ногти.

За стеной кто-то барабанил этюд Черни.

– Давай еще раз. Успокойся, считай про себя, если ритм держать не можешь...

Марина взяла с подоконника свою сумочку, открыла, нашарила “Мишку” и стала разворачивать, стараясь не шелестеть фольгой.

“Пролочку грех отвлекать. Не конфетами едиными сыт человек... впрочем, они их теперь жуют, как хлеб...”

Из-за красного кругляшка пудреницы торчал краешек сложенной клетчатой бумаги. Марина вытянула его и, жуя конфету, развернула. Листок косо пересекали расплзающиеся строчки круглого, почти детского почерка:

МАРИНОЧКЕ

Моя Мариночка, люблю!
Люблю тебя, родная!
Сними одежду ты свою,
Разденься, дорогая!
Тебя я встретила, как сон,
Как сон святой и сладкий!
Целую губ твоих бутон,
Прижми меня к кровати!

Люблю, люблю, люблю тебя!
Русалка ты, царица!
Пускай ночь эта для меня
Все время повторится!
С тобою быть навек хочу,
Любимая, родная!
Прижмись тесней к моему плечу
И никогда вовек тебя не отобьет другая!

Марина улыбнулась, поднесла листок к лицу.

Строчки расплылись, бумага, казалось, пахнет мягкими Сашенькиными руками. Чего бы ни касались эти порывистые руки – все потом источало светоносную ауру любви. Марина вспомнила ее податливые, нежно раскрывающиеся губы, неумелый язычок, и горячая волна ожила под сердцем, вспенилась алым гребнем: сегодня Сашенька ночует у нее.

Прелюд кончился. Ученица вопросительно смотрела на Марину.

– Уже лучше. Теперь поиграй нашу гамму.

Марина спрятала листок и вдруг наткнулась на другой – знакомый, но давно считавшийся потерянным.

– Господи... как это сюда попало...

Девочка заиграла ми-мажорную гамму.

Этот листок был совсем другим – аккуратным, надушенным, с бисерным изысканным почерком:

AVE MARINA

Среди лесбийских смуглокожих дев
Сияешь ты, как среди нимф – Венера.
Феб осенил тебя, любовь тебе пропев,
Склонились с трепетом Юнона и Церера.

Наследница пленительной Сафо,
Как ты прекрасна, голос твой так звучен.
Любить тебя, весталочка, легко:
Твой облик мною наизусть изучен;

Изучены и губы, и глаза,
Изгибы рук, прикосновенье пальцев.
На клиторе твоём блестит слеза...
Ты прелесть, ангел мой. Скорее мне отдайся...

Марина усмехнулась и вздохнула. Это писала Нина два года назад...

Поразительно. Оба стихотворения посвящались ей, в них говорилось в сущности одно и то же, но как далеки они были друг от друга! От неумелого Сашиного исходило тепло искреннего любовного безрассудства, когда при мысли о любимой сердце останавливается в груди, а мир дрожит и рассыпается калейдоскопической зыбью. Второе стихотворение источало холод рассудочного ума, цинично взвешивающего сердечную страсть, отринувшего Случай, как опасность потери своего Эго.

Спотыкаясь, гамма ползла вверх.

– Медленней, не спеши. Не бормочи, старайся следить за пальцами.

Марина спрятала Сашино посвящение, а Нинино разорвала и бросила в корзинку.

Дворник в юбке, накрошив льда, воткнул мокрый лом в снег и побрел за лопатой.

Марина посмотрела на часы. Без четверти три.

– Ну ладно, Света. К следующему разу пригостишь начисто сонатину и прелюд. А дома... дома...

Подойдя к пианино, она полистала “Школу”.

– Вот этюд этот разберешь сама. Запомнила?

– Да...

– Ну и хорошо.

Дверь робко приоткрылась, заглянули светлые кудряшки.

– Проходи, Олег.

Плоскогрудая Света стала собирать свои ноты в капроновую сумку.

Олег громко ввалился со щедро расстегнутым портфелем, шмыгая носом, пылая круглыми девичьими щеками. Тупорылые ботинки были мокрыми, низ форменных брюк – тоже. Галстук с крохотным, намертво затянутым узлом съехал набок.

– Господи, откуда ты? – улыбнулась Марина, кивнув уходящей Свете.

– А я это... опаздывал... и это... – ответно улыбнулся он, хлопнув носом.

Марина поправила ему галстук, чувствуя на расстоянии, как пылает пухленькое красивое лицо.

Этот двенадцатилетний Адонис нравился ей. У него были курчавые светло-каштановые волосы, девичьи черты, голубые глаза, оправленные в бахрому черных ресниц, полные

вишневые губы и круглый аппетитный подбородок. Помимо этого, он был патологически глуп, ленив и косноязычен, как и подобает классическому любовнику Венеры.

Олег порылся в растерзанном портфеле, выудил испачканную чернилами “Школу” и мятую тетрадь.

Прислонившись к подоконнику и улыбаясь, Марина рассматривала его:

– Почему ты такой неряшливый, Олег?

– Да я просто спешил... вот...

– Ты всегда куда-то спешишь...

– Да нет... не всегда... иногда...

Он давно уже чувствовал ее расположение и носил невидимый веночек любимчика с угловатой удалью, позволяя себе глупо шутить с Мариной и задушенно смеяться в собственный воротник. При этом он безнадежно краснел и моргал своими густыми ресницами.

Его отец был стопроцентный прол – отливал что-то на заводе малогабаритных компрессоров, в Доме культуры которого и преподавала музыку Марина.

Мать Олега заведовала небольшой овощной базой.

– Ну, как этюд? – спросила Марина, когда он сел за инструмент и привычно сгорбился, положив большие клешни рук на колени.

– Ну... я в начале там нормально... Марин Иванна... только это, в конце там... сложно немного...

– Что ж там сложного? – она подошла, поставила его “Школу” на пюпитр и нашла этюд.

Олег испуганно посмотрел в ноты, потер руки и робко начал. Играл он неплохо, но природная лень не пускала дальше.

– Немного живее, не засыпай, – сразу подстегнула его Марина и безжалостно нажала на левое плечо, качнув вбок. – Свободней левую, басов не слышно совсем.

Во время игры он забывал обо всем, по-детски оттопыривал верхнюю губу и шлепал ресницами. Глаза его округлялись, нежная шейка тянулась из школьного воротника.

– Пальцы, пальцы! – воскликнула Марина, клюнув ногтем исцарапанную крышку “Лиры”. – Остановись. Опять путаница. Пятый, третий, первый, четвертый. Сыграй еще.

Он повторил.

– Теперь снова, только легче и свободней.

Он сыграл легче и свободней.

“Все может, если захочет. Как партия... – подумала Марина, любясь им. – За таким вот теленочком и гонялась Хлоя по лесбосским лугам. Мой миленький дружок, лесбийский пастушок...”

Из его кудряшек выглядывала аппетитная розовая мочка. Марина представила, как содрогнулся бы этот угловатый увалень, когда б ее губы втянули эту мочку, а язык и зубы с трех сторон сжали бы ее.

– Пауза! Пауза! Почему забываешь? Снова сыграй...

Он вернулся к началу.

“Интересно, есть у него волосики там или нет еще?” – подумала она и, улыбаясь, представила, как, зажав в темный угол этого испуганно пылающего бутуза, стянула бы с него штаны с трусами и настойчивыми прикосновениями заставила б напрячься растущую из пухлого паха пушечку... Опустевший школьный спортивный зал гулко разносит Олегово хныканье и Маринин горячий шепот, поднятая ушедшим классом пыль еще висит в воздухе, запертую на швабру дверь дергает шатающийся по коридору лоботряс. Олег смолкает, покоряясь угрожающим ласкам, Марина валит его на рваный кожаный мат, ее губы втягивают в себя терпко пахнущую головку, а рука властно забирает эластичные яички...

– А теперь как, Марин Иванна?

– Вполне, – шире улыбнулась она, обняв себя за локти. – Слушай, Олег, а у тебя подружки есть?

Посмеиваясь, он пожал плечами:

– Неа...

– Почему?

Угловато он повторил тот же жест.

– Такой взрослый мальчик, симпатичный... – Марина подошла, потрепала его кудряшки. – Только ленивый предельно.

– Да нет, Марин Иванна, я не ленивый...

– Ленивый, ленивый, – ласково качала его голову Марина, чувствуя шелковистость курчавых волос. – Больше заниматься надо, больше. Ты талантливый парень. Если будешь лентяем – ни одна девочка с тобой дружить не станет.

– Ну и не надо...

– Как же не надо? Придет время, и будет надо...

Она наклонилась и сильно дунула ему в ухо.

Он захихикал, втягивая голову в плечи.

– Лень-то матушка! – засмеялась Марина, раскачивая его. – Ладно, давай сонату. Разбирал?

– Ага... немного, – насторожился он и со вздохом полез в ноты.

– Трудно было?

– Очень...

– Не ври. Ничего там трудного нет.

Слюнявя палец, он нашел нужную страницу, посмотрел, подняв брови и приоткрыв рот.

– Начинай.

Неряшливые мальчишеские руки нащупали клавиши.

“В мужчинах прежде всего отталкивают руки и ноги... – вспомнила Марина Сашину фразу. – Толстопалые руки и вонючие заскорузлые ноги...”

Спотыкаясь, соната стала раскручивать свое мажорное кружево.

Марина выудила из сумки “Мишку”, развернула, откусила половинку.

Бирюзовый глаз в черной оправе покосился на нее. Она подошла к Олегу и поднесла оставшуюся половинку к его губам. Он по-жеребьячи шарахнулся назад.

– Бери, не отрывайся.

И взял, как жеребенок берет теплыми губами с ладони, – нежно, осторожно...

“Прелесть ты моя, – подумала Марина. – Выпила бы тебя всего за одну ночь. Весь твой свеженький, еще не загустевший кефирчик”.

Он играл, гоняя во рту конфету – хрупкую, податливую, пряную и соблазнительную, как сама жизнь...

После смерти отца время полетело быстрее.

Дядя Володя увез маму в Ленинград, комнату сдали, Марина переехала в Москву к бабушке. Варсонофьевский немногочисленный переулок, многолюдный центр, шум, асфальт, новая школа, новый каменный двор – все это ворвалось в жизнь Марины быстро и решительно, сломив ее кратковременную ностальгию по редким соснам и частым сараям.

Сухонькая подвижная бабушка продолжала с ней заниматься музыкой, раз в неделю пекла торт “Гости на пороге”, разрешала играть во дворе допоздна (только не выбегай на улицу!), водила в консерваторию и в Большой театр.

В двенадцать лет Марина познакомилась с Игорем Валентиновичем – пианистом, литератором и старым другом бабушки.

– Это чууудный человек, – вытягивала морщинистые губки бабушка. – В консерватории преподавал семнадцать лет, три романа написал, ТАМ побывал... вот так...

– Где там?

– На Севере.

– Там, где папа?

– Да... там, – усмехнулась бабушка, поправляя перед зеркалом свою шляпку. – Слава Богу, что согласился. Вместо того чтоб по дворам-то гонять, позанимаешься месяца два у него. Дороговато, но ничего. Мы люди не безденежные...

– Он в консерватории работает?

– Нет. Теперь дома.

В этот же день они поехали к нему.

Игорь Валентинович жил в огромном высотном здании на площади Восстания.

– Очень рад, – проговорил он сухим высоким голосом, пожал руку Марине и сдержанно улыбнулся.

Сам он был, как и голос, – сухощавый и высокий, с бабушкой держался галантно и улыбчиво.

Втроем они прошли в одну из больших просторных комнат, и после ознакомительной беседы Марина села за рояль.

– Не волнуйся, главное, – шепнула с дивана бабушка, наклоняясь вперед.

– Пусть, пусть волнуется, – усмехнулся Игорь Валентинович. – Лишь бы играла. Не низко?

– Нет, нет...

Вытерев потные ладошки о колени, Марина заиграла “К Элизе”.

Бетховен быстро помог успокоиться, и этюд Черни неожиданно для себя она исполнила легко. Незнакомый рояль пел и гремел под ее длинными крепкими пальцами, бабушка улыбалась, Игорь Валентинович кивал в такт головой.

Марина сыграла еще “Баркаролу” из “Времен года” и облегченно повернулась к Игорю Валентиновичу.

Он встал, сунув руки в карманы узких брюк, прошелся и оптимистично кивнул:

– Ну что ж, будем, будем работать. Есть над чем.

Бабушка вопросительно приподнялась с дивана, но бодрым кивком он предупредил ее:

– Все, все в порядке. И пальчики бегут, и звук есть. Стоит, стоит поработать.

Марина стала ездить к нему два раза в неделю – понедельник и четверг отныне окрасились звуками, наполнились слегка душноватым воздухом громадной квартиры и быстрой речью Игоря Валентиновича:

– Милочка, посмотри внимательно...

Придвигаясь к ней поближе, он выпрямляется, словно проглотив подпорку для крышки рояля, плавно поднимает руку и мягко опускает ее на клавиатуру.

Чистый и свободный звук плывет из-под крышки.

– Все не из пальца, а от плеча. От плеча, вот отсюда, здесь он зарождается, – Игорь Валентинович гладит другой рукой свое худое обтянутое кофтой плечо, – зарождается и по руке, по руке стекает к пальцу, а палец полусогнут, эластичен, кисть свободна, локоть тоже.

Марина повторяет, чувствуя, что ее до совсем другое.

– А кисть не проваливается ни в коем случае! – мягко подхватывает он ее руку снизу. – Кисть эластична, но не безвольна. Еще раз...

За месяц он поставил ей руку на всю жизнь, открыв свободу и мощь кистевой пластики.

– Легче, легче... еще легче! – раскачивал он ее, когда она играла бисерный этюд Мошковского, и вскоре пальцы действительно задвигались отдельно от ее тела, побежали легко и свободно.

– Идеальное состояние для таких этюдов – полусон. Тогда вообще полетит, как пух Эола.

Дома на бабушкином разбитом “Августе Ферстере” Марина повторяла тот же этюд, сама покачиваясь на мягком большом стуле.

На втором месяце Игорь Валентинович “впустил ее в Баха”, как написала бабушка матери. Это был бесконечный ввысь и вширь собор, пустынный и торжественный, громадный и совершенный. Марина не знала, что это такое, но прекрасно видела подробную лепку порталов, размытые сумраком пилоны, чередование колонн, недостижимый свод, пронизанный пыльным солнечным светом.

– Понимаешь, милочка, здесь две Марии, – с настойчивой мягкостью повторял Игорь Валентинович, разглаживая на пюпитре “Хорошо темперированный клавир”, распахнутый на фа-минорной прелюдии-фуге. – Прелюдия – одна Мария, а фуга – совсем другая. Они разные, если не по духу, то по характеру.

Он начинал прелюдию, умышленно замедляя и без того неторопливую переключку аккордов:

– Это состояние божественной просветленности, ожидание Благовещения, небесная любовь...

Прелюдия текла по своей неземной схеме, Марина слушала, любясь искусными пальцами Игоря Валентиновича, забывая обо всем.

Прелюдия гасла, он тут же начинал фугу:

– А это земное чувство. Другая Мария. Такая же просветленная, но и реально чувствующая землю под ногами. И любовь – земная, в лучшем смысле этого слова, любовь истинная и полнокровная, бескорыстная и добрая, страстная и обжигающе-тревожащая...

А что потом?

А потом в первое же лето Москва швырнула Марину из Варсонофьевского в родное Подмосковье: пионерский лагерь “Горнист” лежал тремя продолговатыми корпусами на берегу Клязьмы, автобусы остановились возле деревянных распахнутых ворот с транспарантом.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ “ГОРНИСТ”!

Они поселились в девичьем корпусе, где остро пахло краской, а железные с высокими спинками койки стояли так тесно, что на них приходилось запрыгивать с разбега.

В первый же день Марина облилась киселем в просторной столовой, научилась играть в настольный теннис, познакомилась с двумя отличными девчонками – белобрысой Надькой и остроносенькой лупоглазой Верой.

Сосновый бор окружал лагерь, теплая, усыпанная иглами земля мягко прогибалась под ногами, гипсовые пионер-горнист, пионер-футболист, пионер-барабанщик выступали привидениями на темно-зеленом фоне леса.

Надькина койка была рядом.

После отбоя они долго шептались, комкая влажные простыни с казенным клеймом ПИОЛАГ ГОРНИСТ.

Надька рассказывала страшные истории: “Черный лоскут”, “Светящийся череп”, “Голубые руки”. Все это было нестрашно, зато таинственно. Марина с тревогой вглядывалась в темноту, полную сопения спящих девочек, перебивала сонно бормочущую Надю:

– А дальше, Надь?

– А дальше... дальше череп покотился по узенькой дорожке и прямо к их дому. И в окошко – стук, стук, стук. А они – кто там? А он – это ваша служанка Марта. Хозяйка отворила, а он ее раз – и задушил. И по лестнице вверх покотился. А хозяин спрашивает – кто

там на лестнице? А череп говорит – это я, твоя жена. И тоже его задушил. А мальчик увидел и побежал на третий этаж, где у них дедушкина шкатулка лежала... вот. А череп за ним, за ним...

Марина слушала, а тьма пульсировала возле глаз, убаюкивала, словно старая знакомая. Надя засыпала первой.

Утром они бежали на зарядку, предварительно навизжавшись и набрызгавшись в умывальной. На площадке возле корпуса их ждали двое – толстая кудрявая баянистка и вожатая Таня. Пухлые руки растягивали меха, на клавишах играло пробившееся сквозь сосновые кроны солнце:

Ииии раз-два-три!
Эх, хорошо в стране Советской жить!
Эх, хорошо страну свою любить!
Эх, хорошо в стране героем быть!
Красный галстук с гордостью носить!

Они маршировали на месте – восемьдесят две девчонки, делали наклоны, приседания, прыжки. А перед двумя мальчишескими корпусами то же самое проделывали голоногие мальчишки под баян усатого хромого Виктора Васильевича. Играл он всегда неизменное попури из сталинских кинофильмов:

Эй, вратарь, готовься к бою!
Часовым ты поставлен у ворот!
Ты представь, что за тобою –
Полоса пограничная идет!

Пора в путь-дорогу!
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем!
Над мирным порогом
Махну серебряным тебе крылом!

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в боевой поход!
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин,
А Первый Маршал в бой нас поведет!

Завтракали жидкой манной кашей, крутыми яйцами и чаем в граненых стаканах.

Однажды, когда добрая сотня алюминиевых ложек гремела, размешивая желтый кубинский сахар в красном краснодарском чае, Марина, отхлебнув, подняла голову и встретила с пристальным взглядом старшего пионервожатого, который, примостившись с краю противоположного стола, пил кофе из своего термоса.

Секунду он смотрел все так же пристально, потом молодое, почти мальчишеское лицо его растянулось улыбкой. Подняв шуточно никелированный стаканчик, он кивнул Марине. Ответно улыбнувшись, она попробовала поднять свой стаканчик, но чай был горяч, обжег кончики пальцев. Она подула на них, смеясь, а старший грозно нахмурил брови, оттопырил нижнюю челюсть и покачал головой, изображая директора лагеря – угрюмого толстяка, везде появляющегося со своей женой – такой же грузной неприветливой женщиной.

Марина прыснула, узнав объект пародии, но Володя уже спокойно допивал кофе, что-то быстро говоря сидящему рядом Виктору Васильевичу.

Володя...

Он был душой лагеря, этот невысокий спортивный парень. Тогда он казался Марине страшно взрослым, хотя и носил белую тенниску, узкие спортивные брюки и белые баскетбольные кеды. Красный галстук болтался у него на шее, придавая ему мальчишеский вид. Он мог быть строгим и веселым, занудливым и безрассудным, тошнотворно-спокойным и озорным. У него было увлечение – новенький фотоаппарат иностранной марки, который он часто носил с собой. Фотографировал он редко, снимая, как правило, бегущих или играющих пионеров.

Что-то подсказало Марине тогда в столовой, что этот пристальный взгляд, брошенный под музыку алюминиевых ложек, был не случаен.

И скоро пришлось убедиться в этом.

Почему-то он стал чаще оказываться с ней рядом – подходил к теннисному столу и, сунув мускулистые руки под мышки, смотрел, как она играет с Надькой, отпуская острые, как сосновые иголки, словечки:

– Так. Саликова подает, внимание на трибунах.

– Алексеева, Алексеева, мышей не ловишь.

– Саликова, ну что такое? Ты же чемпион дворов и огородов...

– Алексеева, закрой рот, шарик проглотить.

Сидящие рядом на лавочке ребята смеялись, смеялась и Марина, отбивая цокающий шарик с синим китайским клеймом.

Володя стоял и смотрел, облокотясь на толстенный сосновый ствол. Она заметила, что смотрит он больше на нее, комментируя в основном ее игру. Когда же, уступив ракетку, Марина садилась на лавочку, он присаживался рядом и с серьезно-озабоченным видом тренера давал ей советы, показывая своей смуглой широкой ладонью, как надо гасить, а как – резать:

– Поразмашистей и полегче, Марин. У тебя же вон руки какие длинные.

Он брал ее за запястье, заводил руку вперед и останавливал возле лба:

– Вот. Чтоб сюда проходила. Как пионерский салют.

Марина насмешливо кивала, чувствуя теплую шершавую кожу его крепких пальцев.

Он чем-то нравился ей.

На общелагерной линейке он принимал рапорты командиров отрядов с серьезным и строгим лицом. Ему рапортовали пионервожатые – старшеклассники, приехавшие в “Горнист” на весь летний сезон:

– Товарищ старший пионервожатый, отряд номер три на утреннюю линейку построен. Командир отряда Зубарева.

А он – подтянутый, крепкий – принимал рапорт, уверенно вскинув руку, словно погасив звонкий китайский шарик...

В начале июля была “Зарница”.

Река разделила “синих” и “зеленых” на две противоборствующие армии. Напялив синие и зеленые пилотки, разжигали костры на скорость, натягивали дырявые палатки, кидали гранаты, бежали “партизанскую эстафету”. Директор, затянув свои огузья-оковалки в белый китель с зелеными галифе, пускал ракеты из тупорылой ракетницы.

Марина была медсестрой. Зеленая пилотка плотно сидела на голове, короткие косички с белыми бантиками торчали из-под нее. Сумка с медикаментами висела через плечо, повязка с красным крестом, слишком туго завязанная Ольгой, сжимала предплечье.

Володя командовал “зелеными”, худой бритоголовый командир шестого отряда – “синими”. После однодневной подготовки произошла схватка.

В 8:15 переправились.

В 8:45 вернулась группа разведки, таща на себе “языка” и подвывихнувшего ногу товарища.

В 9:00 вышли на исходный рубеж.

В 9:05 красная ракета зашипела над директорскими кустами, и Володя, подняв стартовый пистолет на шнуре, повел за собой кричащих ура “зеленых”.

Марина по непонятному совпадению или неосознанному порыву бежала рядом, придерживая свою сумку и дивясь обилию росы. Вдруг впереди в кустах захлопала сосновыми досками “полевая артиллерия”, и, крикнув: “Ложись!”, Володя повалился в траву, еще не скошенную колхозными забулдыгами. Марина плюхнулась рядом, доски равномерно, как учили, хлопали, Володя, улыбаясь, крутил головой.

Зеленые пилотки торчали то тут, то там.

– Ба! Алексеева, друг боевой! Ты здесь? – командир заметил ее, приподнявшуюся на руках и разглядывающую противника.

И не дождавшись ответа, сильной рукой схватил ее за плечи, повалил рядом с собой:

– Убьют, ты что!

Его разгоряченное лицо оказалось совсем рядом, тонкие губы смеялись:

– Медсестрам умирать нельзя. Кто перевязывать будет?

Улыбаясь, он еще крепче прижал ее:

– Снаряды рвутся, а ты высунулась. Не боишься?

– Не боюсь, – усмехнулась Марина, снова поднимая голову.

Его ладонь оставалась у нее на шее:

– Рвешься в бой, Мальчиш-Кибальчиш?

Он пригнул ее голову к траве:

– Лоб пулям не подставлять. Выжить – вот наша задача.

Смеясь, Марина пробовала освободиться, но рука старшего пионервожатого была крепкой. Перехватив ее своей, Марина напряглась и вдруг почувствовала его горячие губы в своем ухе:

– Тише, убьют! Тише, убьют! Тише, убьют!

Стало тепло и щекотно.

Еще не ставшая сеном трава густо стояла вокруг, пахло клевером, мятой, душицей и чабрецом; маленький, словно пластмассовый, кузнечик тер ножками крылья, примостившись на стебельке.

– Тише... Ложись... Тише... Ложись...

Шепот был горячий, шершавые пальцы прижимали голову к траве, волна мурашек пробежала от уха по шее и по спине. Притянув ее всю к себе, он непрерывно шептал, поглаживая.словно в забытьи Марина прикрыла утомленные ранним подъемом глаза, тьма и легкий запах табака от Володиных губ оживили прошлое. Сердце толкнулось к горлу, застучало знакомыми толчками:

– Тук, тук, тук... скрип, скрип, скрип...

Скрипит кровать, мужская спина движется в темноте, букет белых гладиолусов цветет застывшим взрывом...

Треснуло сзади, красная ракета зашипела над их головами.

Быстро отпрянув, Володя вскинул руку с пистолетом:

– Зеленые! Вперед! В атаку! Урааа!!

– Ураааа!!! – замелькали кругом голые коленки и красные галстуки...

А ночью после победного парада Марина натерла свой пирожок так, что утром болезненно морщилась, делая первые шаги – робкие, неуверенные, пугающие, удивляюще-зовущие...

Старший пионервожатый жил в отдельной комнате в мальчишеском корпусе. Часто, стоя на пороге своего жилья, весело покрикивал на мальчишек:

– Соловьев, ну-ка отдал мяч быстро. И не лезь больше.

Или советовал:

– Ребята! Отнесите эти обручи в третий отряд, что они тут валяются...

У него была своя лодка – синяя с белыми веслами.

И вот однажды:

– Алексеева!

Он стоял на пороге, засучивая рукава бежевой рубашки.

– Что?

– Поди-ка сюда. Не чтокай...

Передав ракетку Рите, Марина подошла.

Не глядя на нее, он аккуратно расправлял закатанные рукава:

– Хочешь на лодке прокатиться?

– Не знаю... – пожала плечами Марина, чувствуя, как краснеют ее щеки.

Нахмурившись, он снял с плеча капельку сосновой смолы, пробормотал:

– Ну что – не знаю... Иди к спуску, жди меня там. Грести тебя научу.

И добавил, кольнув быстрыми зелеными глазами:

– Только не говори никому, а то лодка старая, двоих только выдерживает.

Они плыли по течению, Марина неловко гребла, непослушные весла вырывались из рук, шлепали по воде. Он смеялся, закрываясь от брызг, в его улыбке было что-то беспомощное.

Марина упиралась ногами, откидывалась назад, вытирала забрызганное лицо о локоть и гребла, гребла, гребла, словно стараясь уплыть от этих зеленых глаз и смуглого улыбающегося лица. Но оно все время было рядом, несмотря на то что лагерь, плес, ивы – давно исчезли.

Он попросил подвинуться, сел рядом, положил свои ладони на ее:

– Ну, зачем же так дергать... смотри... и-раз, и-раз, и-раз...

Весла сразу стали ручными, лодка понеслась так быстро, что вода зашелестела под килем.

– Как здорово... – пробормотала Марина, чувствуя необыкновенную легкость, силу и азарт.

– И-раз, и-раз, и-раз... – приговаривал он, и они гребли, наклоняясь и откидываясь, его пальцы крепко прижали Маринины, уключины скрипели, и скрип этот был замечательным, мучительным, сладостным. Лодка неслась, речной подмосковный воздух дышал Марине в затылок, свистел за ушами, шелестел галстуком.

– Как здорово, – снова прошептала она.

– Смотри! Поворачиваем, – пробормотал Володя, поднимая правое весло.

Лодка понеслась правее и с ходу врезалась в камыши...

Он стал целовать ее тут же, как только бросил весла, целовать в шею, в губы, в глаза, а лодка еще ползла по инерции, хрустела камышами. Марина не сопротивлялась, а лишь прикрыла глаза, оцепенев. Его губы были горячи, требовательны и умелы, рука, пройдясь по коленям, проворно забралась в трусики.

Он сосал ее мочки, губы, язык, не вынимая руки из трусов, и лавина сладкого оцепенения обрушилась на нее. Опять, как и тогда, в душной избенке старика-пасечника, Марина оказалась на горячих мужских коленях, безжалостно раздвинувших ее стройные ноги. И опять вошло в нее что-то горячее, опять стало больно, муторно, сладко.

Застонав, она открыла глаза.

Его плечо, его щека, его покрасневшая, приросшая к щеке мочка...

Прямо за камышами поднялась чайка и с громким писком закружилась по небу, разглядывая сопряженных мужчину и девочку в пионерских галстуках, белую отмель, труп отца, толпу баб, пишущего участкового.

– У нас тут кладбище аккуратное...

Туфли матери вязли в песке.

Грудь старшего пионервожатого покрывали бесцветные волосы.

Марина рыдала, шершавые пальцы зажимали ей рот.

Прибой дотянулся до пыльного сапога участкового, слизнул с него пыль, заставив заблестеть на только что выглянувшем солнце...

Ее звали Мария. Маша. Машенька.

Волны земной любви... Они исходили от нее, незримые, теплые и упругие, как пенящийся морской прибой.

Первая любовь обрушилась на Марину в пятнадцать, когда необычайно жаркое лето свернуло листву московских тополей, размягчило асфальт, пахнуло печным жаром из раскаленных дворов.

Три месяца назад умер Игорь Валентинович, в Ленинграде родился Маринин брат Николай, в соседнем двухэтажном доме был яростный пожар, сожравший девять квартир, Володька Хомутов уехал с родителями на Кубу, Марина экстерном заканчивала музыкальную школу.

– Будь умницей, с тетей Верой повежливей, не дури, занимайся, дверь запирай, когда уходишь, – бабушка еще раз посмотрелась в свое любимое зеркало, поцеловала Марину в лоб и, сдвинув к локтю надетую на руку сумочку, зацокала к двери.

Узкоплечий, но коренастый племянник дяди Володи поднял перетянутый ремнями зеленый чемодан, подмигнул Марине и, изогнувшись, отставляя руку, двинулся следом.

Отстранив лениво колышущийся тюль, Марина вышла на балкон. Внизу стояла зеленая “Победа”, белобрый шофер, загнав папиросу в угол хмурого рта, открывал багажник. Появилась бабушкина соломенная шляпка, выплыл скособочившийся Рома. Прищурившись, бабушка помахала Марине:

– На улице осторожней! У Веры допоздна не сиди!

Широко расставив ноги, Рома опустил чемодан в черную дыру, шофер запоздало двинулся помочь ему. Потом все трое исчезли в машине, она заурчала и, раздвинув играющих в расшибец мальчишек, уползла под арку.

Марина вернулась в прохладную комнату, скинула тапочки и босая запрыгала на липком от растопившейся мастики паркете:

– Одна! Одна! Одна!

Ее отражение прыгало в бабушкином трюме: белое коротенькое платье в синий горошек, вьющиеся каштановые волосы до плеч, худые загорелые руки.

Бабушка уехала на две недели, оставила соседке семьдесят рублей с просьбой “посматривать”.

Марина подбежала к телефону, набрала номер.

– Але? – нараспев протянула Вера.

– Вер! Бабуля уехала.

– Уже?

– Ага.

– Счастливая. Ну че, ты придешь?

– Конечно.

– Приходи пораньше, поможешь торт сделать.

- Какой?
- Ореховый.
- С кремом?
- Обязательно...
- Вер, а кто еще будет?
- Танька, Ольга и ты. Может, Мишка с Олегом зайдут.
- Нормально.
- Приходи... Щас, мам, иду... ну, пока, Марин.
- Пока.

Марина положила трубку, села к инструменту, полистала ноты.

С балкона сквозь тюль текла жара, внизу кричали мальчишки, клавиши пахли нагретой слоновой костью, большие часы, висящие над пианино, громко тикали. Лукавые четверти мазурки были хорошо знакомы, но играть не хотелось.

Разыскав брошенные тапочки, Марина сбегала к соседке.

– Только ты сразу не трать, Мариночка, – нравоучительно склонила голову набок Вероника Евгеньевна, протягивая сложенную пополам десятку. – Кушать у тебя есть что?

- Бабуля на неделю наготовила.
- Держи в холодильнике, а то прокиснет в момент...
- Я знаю, тетя Вер.

Марина купила на Петровке три пачки серебристого, покрытого изморозью эскимо, одну съела, запивая ледяной, бьющей в нос газировкой, две другие сунула в пакет с тремястами граммами развесного шоколада и побежала домой.

Сунув шоколад с мороженым в холодильник, пошла в ГУМ, толкаясь в потной толпе, купила Верке пластинку Караклаич, голубую шапочку для купания и капроновые чулки.

Пухлой веснушчатой Вере исполнялось пятнадцать, Марина была на полмесяца старше...

– Мы уже все скомбинировали! – похвалилась Вера, распахивая дверь и с треском вырывая зубами из яблока добрую треть. – Навай... пноходи...

- Прожуй, подавишься, – усмехнулась Марина, перешагивая обитый войлоком порог.
- Угу...

Они прошли в комнату, посреди которой посверкивал стеклом накрытый стол. На кухне что-то громко жарилось, и в чаду мелькала оплывшая фигура Верининой мамы.

– Ух ты, платье милое какое, – проговорила Вера, глотая и слегка кривя смешливые губы. – Софи Лорен прямо...

Марина опустила на диван, стала распаковывать большой сверток.

Она была в белом, матерью сшитом платье, волосы перехватила белой лентой, слегка напудрилась из фарфоровой пудреницы и подкрасила губы бабушкиной розовой помадой.

- Эт что, мне все? – хихикнула Вера, присаживаясь рядом.
- Тебе. Держи.

Марина сунула ей пластинку.

- Эт кто?
- Караклаич.
- Во, спасибо. Давай заведем...
- И вот еще, погоди...
- Шапочка! У меня нет как раз...
- И вот. Тоже тебе.
- Ну, Маринк, куда мне столько...
- А главное – гляди... закрой глаза...

Вера сморщилась и отвернулась, потрянув длинной косой.

Марина положила ей на колени небольшой альбом для марок.

– Ой, Марин, спасибо...

– Расти большой, не будь лапшой... в общем, поздравляю...

Марина чмокнула ее в щеку и пошла на кухню:

– Здрасьте, тетя Наташ...

Тяжело дышащая туша в фиолетовом халате повернула к Марине красное лицо с едва различимыми щелчками глаз:

– Мариночка, здравствуй... Ишь ты, красивая какая сегодня. Уехала бабушка?

– Уехала.

– Надолго?

– Недели на две.

– Во благодать-то! – утробно захвохтала туша, лихо переворачивая шипящие в масле антрекоты. – А не страшно?

– Что я, маленькая, что ли...

– Молодец. Ты проходи к Вере, тут угарно...

Шесть часов наступили быстро.

– Ну вот, – яростно шепнула Марине Вера, с грудой подарков выходя из весело болтающего коридора, – сеструху свою притащила.

– И что?

– Да ничего, старуха ведь...

– А сколько ей?

– Двадцать три...

– Кошмар...

Когда вошла ОНА, Марине вдруг стало зябко и весело.

Глаза их встретились, улыбка сошла с красивого лица Марии, черные дуги бровей дрогнули:

– Аааа... это наша знаменитая пианистка?

– Очень знаменитая, – смеясь, пробормотала Марина.

– Мария, – она подошла ближе, и мягкие пальцы крепко сомкнулись вокруг Мариных.

– Марина.

– Какие у тебя красивые подружки, Вер.

– А я что, некрасивая? – хихикнула Вера.

– И ты тоже...

Она была худая, как и Марина, но тело отличалось большей неподвижностью, движения его длились плавно и размеренно.

– Можно мне здесь?

– Конечно.

Мария села напротив Марины, и время окостенело, комната, стол, лица девчонок – все стягивалось к этим черным пристальным глазам, к красивому, слегка надменному рту...

Марина не понимала, что с ней происходит.

Выпили сидра, пришли мальчишки, принесли сухого. Выпили невкусного сухого.

Уплыла Веркина мать, стемнело, кто-то завел Дина Рида, кто-то плюхнул в Маринину тарелку огромный клин торта, кто-то, дурачась, заговорил голосом Райкина, а пристальные глаза все смотрели, смотрели, словно нанизывали на два черных луча.

– Ты давно играешь? – спросила она сквозь хриплый голос Дина Рида.

– С детства, – улыбнулась Марина, разглядывая ее индейское лицо, обрамленное прямыми блестящими волосами.

– Нравится музыка?

– Конечно.

– А что больше?

– Бах и Шопен.

Мария кивнула и положила в рот кусочек печенья. К тарту она не притронулась.

– А я тебя у Тани никогда не видела. Даже и не знала, что у нее такая взрослая сестра.

– Правильно. Я тут не живу. Так, приезжаю иногда...

Ее руки изящно ломали печенье:

– Ты с родителями живешь?

– С бабушкой. Но она щас уехала. К маме. В Ленинград.

Рука с печеньем остановилась на полдороге к губам:

– Как же она тебя оставила?

– А что такого. Я не маленькая.

– Справляешься?

– А чего там. Я все умею.

– Молодец. Я вот до сих пор готовить не научусь.

– Почему?

– Муж избаловал.

– Он хорошо готовит?

– Да. Лучше любой бабы.

– Ты давно замужем?

– Три года.

– Хорошо быть замужней?

Мария усмехнулась, лениво потягиваясь:

– Ничего хорошего.

– Почему?

Мария неторопливо подняла из-за стола свое гибкое тело:

– Когда выйдешь замуж – поймешь. Пошли покурим на лестницу...

Марина двинулась за ней.

– Куда это вы? – спросила пунцовая от смеха Ольга.

– Сейчас придем...

На лестнице было темно и прохладно, Мария достала из сумочки сигареты, протянула Марине:

– Куришь?

– Нет, – улыбнулась Марина.

Чиркнула спичка, высветив индейское лицо:

– Честно говоря, не помню, когда была на таком девишнике.

– А что?

– Да смешно до слез. Дети вы. Правда, завидно немного...

Она затягивалась, разглядывая Марину:

– Ты очень красивая. Как принцесса.

Марина улыбнулась:

– Ты красивее.

Дым со смехом пошел у нее изо рта:

– Спасибо... У тебя мальчики есть?

– Неа.

– Почему?

– Да ну... Неинтересно с ними...

– Понятно.

– Маша, а где ты такие брюки достала?

- Нравятся?
- Очень. Это ведь новая мода.
- Хочешь такие?
- Дорогие, наверно...
- Матерьял тридцать и шитво десятка.
- Дорого.
- Чего ж дорогого?

Марина пожала плечами.

Тонкий палец щелкнул по сигарете, стряхивая пепел:

- Послушай, а у тебя инструмент дома есть?
- Конечно.
- Давай сбежим к тебе, ты мне поиграешь? А то тут с тоски помрем.
- Давай. Только Вера может обидеться...
- А я совру чего-нибудь. Пошли...

Швырнув сигарету вниз, она скрылась за дверью...

Вскоре они уже сидели на протертом бабушкином диване, и Марина первый раз в жизни пробовала курить.

– Да нет, не так. В себя тяни, в себя, – тихо проговорила Мария, придвинулась и, обняв Марину за плечо, взяла из ее губ сигарету. – Смелее, вот так...

Она стремительно втянула в себя дым, заставив сигарету зашипеть, и изящно выпустила его тонкой струйкой, сложив губы бутонем.

– У меня так не получится, – улыбнулась Марина.

– Получится, получится... Эта лампа горит? – спросила Мария, потянувшись к горбатой настольной лампе, с хрустом включила. – Выключи люстру, по глазам бьет...

Марина погасила верхний свет.

– Совсем другое дело, – усмехнулась из полумрака Мария и, откинувшись на спинку дивана, эффектно забросила ногу на ногу. – Ну, иди, поучимся, принцесса.

Глаза ее таинственно поблескивали, сигарета плясала в подвижных губах.

Марина присела рядом, осторожно затянулась из ее руки и закашлялась:

– Ой... кха... гадость какая...

– Ха-ха-ха! Деточка ты моя. Привыкай. Давай еще...

Она обняла ее, прижавшись теснее. Марина чувствовала упругую грудь, упирающуюся в ее плечо.

Черные влажные глаза шевелились рядом, разглядывая Марину. Казалось, они жили своей отдельной жизнью...

– Ну, давай, давай...

Дым снова неприятно ворвался в легкие, но Марина сдержалась, а когда выпустила его, комната слегка качнулась, пол поплыл и стало весело.

Она засмеялась, прижав ладони к глазам, Мария обняла ее и повалила назад:

– Пробрало, пробрало принцессу!

Марина смеялась, а влажные глаза таинственно поблескивали возле ее щеки.

– Послушай, а ты действительно к мальчикам равнодушна?

– Не знаю, – посмеивалась Марина, чувствуя небольшое головокружение.

– А за тобой ухаживал кто-нибудь?

– Неа...

– Скоро начнут табунами ходить.

– Почему?

– Ты очень красивая. Мальчишки из-за тебя поубивают друг друга.

– Да ну их...

– Почему?

Марина пожала плечами.

Черные глаза укоризненно качнулись:

– Ну и зря. В удовольствиях себе не надо отказывать.

– В каких?

– Ну, в разных. Будет за тобой ухаживать мальчик, в кино сводит, угостит мороженым, проводит до дома. А в подъезде нежно прижмется и поцелует. Разве плохо?

Последние слова она произнесла таинственно и чуть слышно, с пристальной нежностью глядя в глаза Марины.

Марина снова попыталась пожать плечами, но Мария слишком сильно обнимала ее, прижавшись грудью:

– Знаешь, как мальчики умеют целовать?

Ее губы приблизились к уху Марины, горячий шепот исходил из них:

– Этот мальчик, который тебя проводит, будет высоким, широкоплечим, стройным. Как принц. Волосы светлые, глаза большие, красивый, как и ты. Такому отказывать никогда не нужно. Губы у него алые, мягкие. А в подъезде он прижмется, нежно обнимет и поцелует. Знаешь как приятно? Ты не целовалась никогда?

Марина покачала головой. Ей было спокойно и хорошо в объятиях Марии. Голова слегка кружилась, в окне и в распахнутой двери балкона чернела тьма, горячий шепот приятно щекотал ухо:

– Мальчики по-разному целуются. Кто как умеет. Но если мальчик и девочка умеют целоваться – это очень приятно. Важно уметь. Если не умеешь – ничего не почувствуешь. Меня в твоём возрасте подружка научила. И знаешь как приятно потом было? С ума сойти. У него губы были большие, нежные. Он так обнимет за плечи и за шею, приблизится медленно, в глаза глянет, и губы сойдутся. И мы целуемся, целуемся. Это ужасно приятно...

– А ты за него замуж вышла? – прошептала Марина, неподвижно уставившись в черную дверь балкона.

– Да нет, что ты, – еще крепче обняла ее Мария. – Вышла я за Сережу, а Женечка у меня первый был. Первая любовь. Он меня и женщиной сделал. Мы так любили друг друга, обалденно... Все-таки я вот смотрю на тебя – какая ты красивая. Невероятно! Просто завидую тебе...

Она погладила пальцем Маринину бровь:

– Настоящая принцесса...

– Да какая я принцесса... это ты принцесса...

– Как тебя будут любить, Маринка, как будут страдать из-за тебя!

– Прямо уж...

– Точно. Проходу не дадут.

– Да ну их...

– Как же – да ну? – нежно повторила Мария, глядя ее щеку. – Мальчик тебе объяснится в любви, а ты – да ну? Это не дело. На чувства надо отвечать. Губами. Понимаешь? Хочешь, научу тебя целоваться?

– Я не знаю...

Длинные пальцы гладили подбородок, бездонные глаза смотрели в упор:

– Тебе нужно это уметь, Мариночка. Обязательно нужно. Давай...

Перегнувшись через сиденье дивана, она хрустнула выключателем.

Комната погрузилась в темноту, только слабый свет двух уличных фонарей протянулся по потолку бледно-голубыми полосками.

– Повернись ко мне, – прошептала Мария, разворачивая ее за плечи.

Марина повернулась.

Ее белое платье было заметно в темноте, в то время как от темно-коричневой Марии остались только блестящие глаза, поймавшие искорки двух фонарей.

– Я буду твоим мальчиком...

Невидимые руки настойчиво обняли, Мария прижалась своей мягкой грудью и стала целовать в шею, горячо шепча:

– Милая... любимая моя... люблю тебя... ты будешь моей... моей женщиной... моей первой женщиной...

Марине было приятно и хорошо, она положила свои руки на съеденные тьмой плечи, прижалась к невидимому телу.

Так длилось долго. Мария целовала ее в шею, в щеки, посасывала мочки ушей, гладила грудь и плечи. Губы ее были теплыми и мягкими.

Потом вдруг они оторвались от щеки, исчезая на секунду, и вдруг...

Это было так нежно и неожиданно, что Марина вздрогнула, знакомая зыбкая волна мурашек стремительно прошлась по спине.

Нежные губы коснулись ее губ, требовательно раздвинули, и чужой язык вошел в них, тронул язычок Марины. Рот приятно онемел, словно принял в себя обжигающее сладкое вино, которое быстро прошло в грудь, заставив сердце затрепетать, а тело – замереть. Смоляные глаза стали совсем близкими, тусклый отблеск фонаря играл на гладких волосах лунной морской дорожкой. Язык снова вошел в рот Марины, неожиданно для себя она поняла сущность урока, ее губы ответно ожили, дрожь прошла по членам.

Это тянулось долго, мучительно долго, и было сладко целоваться с этой взрослой, умной, красивой женщиной, которая все знает, и все умеет, и так нежно пахнет духами, незнакомой жизнью и опытом, опытом...

– Милая, но мальчику поцелуя будет мало, – еще горячее зашептала Мария, часто дыша и не переставая прижимать к себе Марину. – Знаешь, какие они требовательные? Особенно – красивые. Представляешь, он узнает, что у тебя дома – никого. Бабушка уехала, как сейчас, квартира пустая. Он требует. Понимаешь? И ты должна пустить его, если любишь. И вот вы уже здесь. Дверь он крепко запер, соседи все давно спят. Вы одни. Он долго-долго целует тебя, а потом... потом...

Ее рука нащупала на спине молнию, потянула. Маринино платье ослабло на плечах, горячие руки стали раздевать ее:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.